
ВИКТОР ЛИХОНОСОВ

*

НА УЛИЦЕ ШИРОКОЙ

Повесть

Июнь 195 ... г.

Дорогая Парасковья Григоровна, ты на меня обижаяешься, почему я писем не пишу, не поделюсь лишний раз своей жизнью. Оно, милая Паша, то некогда, днем в хозяйстве, и затем ленивая письма писать, постарела: как вечер, так спать, а днем время нет.

Жене в мае исполнилось 18 лет, такой большой стал да умница, выше росту, как был дядя Ваня, такой бравый. Как папа его встал да посмотрел, то радости сколько б было. Он любил его маленького, мечтал выучить, чтоб из всей нашей родни хоть один был ученый, не то что мы, расписуемся, как курица лапой. Все соседи завидуют: Физа, какой у тебя сын умница. Я не могу представить, как я его буду провожать. Нигде дальше Кривошекова не был, собирается учиться в Москве или где-то поблизости, а я теперь уже думаю: он у меня, как гость... Ведь ты, Паша, сама подумай, как время быстро летит, я его столько лет без отца ростила, а теперь он у меня вылетит, как птичка из гнезда, ума не приложу, как я без него останусь; у меня уже сердце болит об нем, только я виду не подаю...

...Дописываю через месяц... Проводила своего сыночка, наплакалась я досыта. Все переживаю о нем, выйду на крылечко и все как будто его выглядываю — не идет ли с площади, рукой по-отцовски помахивает... Вот так живешь, милая Паша, надеешься на будущее, а потом совсем одна останешься и уже ничего не надо, лишь бы детям повезло. Каждый день плачу, как-то у людей много ребят и они все возле родителей, а он у меня один, как палец, и тот уехал...

Август 195 ... г.

Здравствуй, дорогой сыночек, с приветом твоя родная мама. Получила письмо и телеграмму, которая меня очень обрадовала, не только я рада, но и соседи, все говорят: ну, слава богу. Теперь, Женя, у меня одно будет настроение — как тебе лучше помочь, я о себе теперь не думаю и не забочусь, мои годы ушли, только давай, Женя, смотри стараясь, встраивай жизнь себе как следует, а то у меня годы идут не к молодости, а к старости, и так что, сынок, слушай мамин наказ, больше тебе никто так не посоветует, как родная мама.

Здоровье пока хорошее, живу по-старому, картошку выкопала зательно, с соседями выбирала, 15 кулей накопала, неважная, никак не ве-

зет мне на картошку: у соседей с загона по 30 кулей или 32 с половиной, а я... ну, ничего, как-нибудь прокормлю корову, не знаю, что и делать с ней, думаю оставить еще на зиму, а круто будет, то сдам... На корову налог пока не приносили, наверно, с 1 октября, еще доится, ну мало дает, 3 литра, наверно, бросит рано. Нынче много денег надо: угля нет, пальто бы отдать шить (еще воротника нет), ты же купи себе обязательно костюм. Посмотри там по магазинам, возможно, там купишь, а я деньги соберу и вышлю, смотри, будь поаккуратней с деньгами, учись быть над собой хозяином, костюм бери только хороший, на 5 лет чтобы, пригласи товарища или девушки, они тебе посоветуют, как на тебе сидит. Насчет брюк не скажу, молодежь узкие стала носить. Я хотела тебе сразу выслать деньги, потом решила: отправляют в колхоз, после вышлю. Бери, если понравился, за эту цену, и также и ботинки купи заранее, не тогда, когда их обувать, припаси сразу, потом будешь спокойно учиться, а я получу следующее письмо, сразу переведу, а то я сомневаюсь, чтоб в колхоз не уехал... Или купи себе сапоги кирзовые, они тебе удобней будут для осени, носки, портняки, и будет тепло, там, рассказывают, что сильно грязно осенью, вот и купи в первую очередь сапоги.

Сено я вывезла 6 августа, спасибо большое производству, где работал Никита Иванович: крепко мне помогли. Ездили за сеном Демьянович и один чужой дяденька, за 200 км. Демьяновна сторожила двор, за коровой глядела. Машину большую нагрузили, в общем со всеми расходами 1000 рублей стало. Вот, Женя, я обеспечена сеном, теперь вся забота о тебе. Я пустила квартирантов на твою долю, четырех мальчиков, приехали учиться в техническое училище на 9 месяцев, будут мне платить, мальчики все пооканчивали 10 классов, и мне с ними веселей. Сейчас их тоже послали в колхоз до 1 октября, не знаю, как они мне оплатят: или за сентябрь, или позже. Так ребята попались хорошие, помогали забор городить. Я теперь, Женя, новый поставила, привезли сено и забор сломали. Никита ж Иванович только обещал переменить столбы, на том и кончилось, пришлось нынче новый ставить, опять давай копейку. Лесу выписывала на 200 рублей, перекрыли стайку и на дрова немножко. Теперь с меня самая главная забота свалилась — сено, буду кормить экономно и дотянуть до марта. Ты спрашиваешь, много ли выручила за огород: в общем с огурцами 1000 рублей за все лето, я тебе их отдаю на костюм, а с коровы мало собрала, молоко было два рубля литра, столько много понаносили нонче молока, уйма, так переводила — лишь бы не кисло, а сейчас дороже молоко, три-четыре рубля, ну корова моя уже сбавляет.

У нас уже прохладно, в осенних польтах ходят. Обещает бабушка приехать, как уберут картошку, не знаю, сколько она у меня проживет. Ребят твоих не видела. Пропиши, где столуешься, у хозяйки или нет. Затем писать заканчиваю, пиши разборчивей, чтобы мне по соседям не носить читать. Целую, мама.

Ложу в письмо 5 рублей...

Глава первая

Они жили на окраине большого сибирского города, на левобережье, во втором доме от трамвайной линии. Улицу свою Женя Бывальцев так любил, что малейшие слухи о сносе старых домов и застройке улицы казенными повергали его, в то время еще мальчика, в уныние: а как же тогда? Как найдет он потом среди новых площадок, гrottуаров, магазинов, балконов с мотающимся на ветру бельем свой прохладный двор, огород на болотце, палисадник с отцовской осиной, окно, в которое они с матерью все кого-то выглядывали, как будто им каждую минуту

должны были принести какую-то радость? А главное, думал он взрослым, куда же он вернется, чтобы вспомнить свою жизнь на улице Широкой? Идешь со станции, от самого хлебозавода видишь свою серую толевую крышу, потом крыши соседей и с удовлетворением отмечаешь, что стоит все на месте, хотя там, вдали, в стороне не своей, привыкал глаз к каким-то переменам.

Но улицу никто не трогал. Наоборот, заросла она на низах обрезанных огородов тесными строениями пришлых людей. И слава богу, что не трогали. Кому же охота бросать копаную-перекопаную землю, много весен питающую наездом из коровьих стаек! Кому охота загонять себя в каменные коробки и слышать по вечерам, как щелкают в чужой квартире выключатели! Старики есть где выпрямлять гвозди, пожилым приятно посидеть на холодеющем закате на собственной лавочке, покричать через дорогу: «Антоновна, или стираться к вечеру надумала?» Легче и умирать в своем доме, постоять возле гроба близкие да соседи, горячее поплачут, подальше проводят.

Приезжал Женя теперь редко и неожиданно, обычно без телеграмм, шел на горку и думал о прошлом. Первые взглазы соседей были не о нем — о матери. То кто-то посыпал своего парнишку мигом сообщить ей, то нарочно скрывали на минутку от нее новость, выпытывая: «Ну-ка, что тебе снилось?», то сажали Женю за стол с недопитой бражкой. Расспрашивали его, вытирали слезы, каждый как бы сочувствовал его матери, находя в сердце и свое собственное ожидание, свои слезы, свою судьбу. Ни разу не проворонила его приезд Демьяновна, толстая, чудная баба, в любой день бродившая из двора в двор в белом фартуке. Мать нередко жаловалась на нее в письмах. Тем досадней было узнавать о неладах, что Демьяновна была для Жени как родная тетка, каждый раз помогала при встрече готовить на стол и провожала его до самого вокзала на другой берег, целовала, совала в руку пятерочку, троячок, просила не забывать, обещала не давать его маму в обиду. И отчего-то мелко тряслась на его плече, всхлипывая. Что вдруг так трогало людей? Или по Жене было заметней, как меняет всех время, или привыкли переживать за их семью? Или просто старость напоминала им о себе?

И в первый день не хватило у Жени смелости спросить у матери о человеке, который бы еще и не так его встретил. Еще не так бы зашумели бы все вокруг, не такое бы еще застолье устроилось...

«Ехор-малахай! — кричал бы он после первой стопки. — Какого сына вырастили! А мы уж так и помрем в стайке, Физа! А давно ли он лопатку корове под г...цо подставлял! А теперь любая Алена подходит! Как тут не выпить, давай еще хряпнем, я доволен. По крайней мере на старости нет-нет да и подкинет отцу десяточку на похмелье. Мы уж со старушкой как-нибудь. Будем на охоту ездить, куплю ей ружье, хряп, хряп — и в сумку! Ну, потянем. Встречаем не по одежке, а по уму. Барахла у нас полная кладовка! Одних калош десятка два. Верно, скажи, сынок? Большой какой, слушает нас, дураков, и думает о чем-то, скажет: «Мне теперь не до вас, малограмотных, я не с такими вожусь». И в глазах простили бы вдруг слезы. «Эха-ха-а», — вздохнул бы он, как раньше, потом превозмог бы себя и дурашливо заорал: «Соколовский хо-ор у Яра был когда-то знаменит...»

— Мам, — осторожно спросил как-то Женя, — ну, а Никиту Ивановича еще не позабыла? Вспоминается иногда?

— А чего теперь вспоминать? — ответила мать. — Что **хорошего** мы с ним видели? В твоем костюме положили, когда пришлось. Чего **хорошего...** Все соседи меня жалели...

Это было правдой, но в те первые наезды Женя, даже сочувствуя матери, не мог целиком присоединиться к ее словам. Ему становилось

жалко Никиту Ивановича. Он всю юность зависел от него: от его голоса, замашек, словечек.

И то надо сказать: родного отца он не помнил.

В какой-то пасмурный летний день принесли повестку, кто-то (кого он потом вспоминал как отца) брал Женю на руки, мать плакала, и мальчик запомнил, как неловко и стыдно было ему оттого, что вокруг него плачут, а он не может: он не понимает, зачем все плачут.

— Повестку прислали, а он был на работе, — часто рассказывала мать. — Думаю, придет, поужинает, тогда скажу. Он промаялся за день, кашу с молоком с такой охоткой намолачивает, а я не вытерпела, заплакала и говорю: «Что тебе снилось?» Он и ложку отложил сразу. Понял. Ушел в военкомат, нет и нет. Корова наша паслась на площади, где ты теперь футбол пинаешь. Мы с тобой пошли за ней, и он от шоссейки к нам показался. Как сейчас вижу, — задыхалась мать и вытирала слезы. — «Сыночек, сыночек, иди скорей!» — закричал тебе, подхватил на руки.

С немыми лицами стояли соседи у порога, жалели покорно собиравшую мужа хозяйку. С тех дней, выгоняя коров в стадо на зорьке, бабы делились снами и в каждой мелочи с опаской ловили приметы.

— Хоть оглянись, — сказала мать отцу, когда уходили на станцию. Она потонула в его пиджаке, который он оставлял на память или на крайний случай, если иссякнут запасы. — Оглянись, а то, может, и не...

Женю отец нес на руках. Он нес сына под горку, где мальчик потом бегал без него с бичом за коровой, где он спускался на болото к тете Паше.

Отправили отца в военный лагерь. «Как бы ты, Физа, приехала, — писал он, — привезла бы курева, бумаги».

Мать поехала. Не так-то просто тогда было попасть на поезд. До Юрги было километров триста. Физа Антоновна ухитрилась как-то договориться с проводниками, пустившими ее в вагон без билета. Она залезла под скамейку и в духоте, в пыли, чувствуя запах ног, положив голову на сверток с папиросами и сухарями, терпела около девяти часов.

Вместо того, чтобы плакать и утешать друг друга (как воображал потом Женя), отец угрюмо и толково наставлял жену, как ей жить без него...

— Держи корову — не голодные будете. Женю корми как ни можно лучше, чтобы смалу был крепким: он растет, ему надо.

— Держи корову! — крикнул он и напоследок, спустился с подножки и заплакал.

Несчастен Женя, что не видел этого. «Не мог я быть чуть постарше», — сокрушался он в юности.

— Когда поехала в последний раз, — рассказывала мать уже взрослому сыну, — уезжала, так он наказывал, чтоб я все приготовила: курево, бумаги и сухарей в дорогу. Как только, мол, сообщу, то ты на воинскую площадку выезжай с Женей, я на него посмотрю хоть немножко. Я насобирала, стояло все наготове, уже и сны предсказывали, что скоро должен приехать. Один раз приснилось: куда-то мы едем с тетей Пашей и на какой-то станции понадобилось мне купить луку. Поезд затормозил, а тогда торговали за столиками, порядком бежать от линии. Я поскорей. Только прибегаю, лук крупный, спросила: «Почем такой лук?» — и поезд мой «ту-ту-у». Я назад. Подбегаю — он только хвостиком мелькнул. Я кричать: «Обождите, обождите, не оставляйте меня одну!» Ну что ж, ушел мой поезд. Я тогда схватилась за голову, как давай голосить: «Ох, ничо мне так не жалко, как чемодан! Там единственный мой дорогой костюм, я его вовек не наживу! Он на верхней полке, а Паша не знает».

— В этот же день поехали мы с Женей на картошку, — вспоминала

Физа Антоновна вечером после салюта Победы. — Картошку сажали в Буграх, далеко. Взяла тележку, мешки, посадила Женю, скорей, скорей, выкопать три сотки и на станцию узнать, не проходил какой состав. Притащились мы с тележкой, а картошки нашей уже нету: выкопали чужие люди. Заплакала я, насобирала с кастрюльку — да домой. Демьяновна встречает: «Физа, я слыхала, составы шли, не проворонь своего». Я Женю закрыла, побежала в чем была, тапочки с меня слетают.

Когда это было, в какой день, по какой погоде? Не помнит, не знает Женя. Как будто и не существовало его на свете.

— На станции пригородный стал на первый путь, и в эту минуту с разгону за его вагонами военный состав пролетел. Пригородный тронулся, а у воинского только хвостик мелькнул, солдаты машут. В этом составе мой Иван Федорович проехал. Вот тебе и сон...

Отцовский, неладного покроя костюм достался Жене в девятоим классе, он надевал его и в школу, и на выступления в концертах, и на свидания.

— Остались мы с тобой вдвоем, — вздыхала мать. — Жили, горевали и молились богу, чтоб наш папка вернулся целый и здоровый. Я тебя учила богу молиться, мы с тобой ставали на коленки поочередно, желали, чтоб наш папка не погиб. А когда ты забывал молиться, ляжешь в постель и говоришь: «Ох, мам, я богу не молился», — сразу соскочишь и молишься вслух и на конец молитвы говоришь: «Пожалей меня, господи, отпусти моего папку домой», — и поклонишься до земли. Ходили всякие ворожейки, но я им не верила, а тетя Паша твоя, та все рубахи и кальсоны проворожила, и все карты говорили ей, что придет. Потом смеялась: ни одних кальсонов не осталось.

Женя лежал у той же печки, на той же кровати, и вечер был, кажется, такой же, что и десять — пятнадцать лет назад, и мать ему казалась молодой, потому что была она для него всегда как бы в одном возрасте, с тем же лицом и голосом, как в войну и после войны, когда она, вернувшись из женского общежития с пустыми кастрюльками из-под варенца, топила печку и разговаривала о жизни.

— Когда отец жив был, так он часто писал письма, спрашивал о тебе, как там сынок, наверно, уже скоро в школу. Бой пройдет — пишет письмо. «Все спят, а я пишу». Контузило в сталинградских степях, засыпало землей и вдобавок попал под машину. Догонял своих, идет — и каждый день пишет: думал, если убьют, хоть письмо попадет. Не убило. А тут вдруг писем не стало, два месяца не было ни звука. Стали мне сны разные сниться: то корову увижу, а корова когда приснится, то обязательно мне так не пройдет — поплачу. То печенья хлеб. А тут перед несчастьем приснилось, будто иду на болото, где Паша жила, и вдруг повалился столб телеграфный. Я побежала и стала его выдергивать. Выдернула, положила на землю, и с той ямки образовался колодезь, и в том колодезе закипела вода ключом, и полилось к нам во двор, в подпол, а с подпола на улицу. И тут пришло письмо: Иван Федорович не вернулся с боя. Вот я и выдернула столб, разве не закипело сердце, разве не полились слезы? Вот, говорят, сны врут. Нет, не так это, не дай бог их видеть и отгадывать. Когда отец был еще дома, было у нас три курицы, всем по курице: твоя была серенькая, папкина — черная, моя — белая. Как взяли отца на фронт, то стала черная курица по-петушиному петь. Конечно, я переживала, курица не к добру поет, старые люди приметы знали: курица запела в доме — жди какого-нибудь несчастья. Тут отца взяли, тут ты заболел скарлатиной, лечить нечем, в больнице никаких лекарств: все шло на фронт.

— Это ты, Женя, за печкой лежал, — напоминала мать в институтские годы, — письмо лейтенант прислал, служил с твоим отцом и полю-

бил его. Вот он и написал моей племяннице, что дядя Ваня не вернулся с боя. Племянница взяла письмо и пошла к тете Паше, и с тетей Пашей они пришли в двенадцать ночи ко мне. Постучали, я сидела рукавички вязала, а ты спал за печкой. Открыла дверь, смотрю — стоят. Тетя Паша, как только переступила через порог, и сразу села на кровать и заплакала. Племянница тоже стоит плачет. Тетя Паша тогда говорит: «Ах, Антоновна, какую мы тебе весть принесли нехорошую». Я два раза спросила: «А что случилось?» Племянница молчала, а потом: «Дядя Ваня с боя не вернулся». Я не выдержала, упала на стол, я так и знала, что это будет, поэтому и писем не стало. Плакала да приговаривала: «Ох, милой ты мой Ванечка, да ты ж писал в письмах и говорил, что война кончится и я вас с сыночком увезу на запад, да-ай сам там голову положил, да какая для нас с сыночком утрата, никогда я не думала и не чаяла, что мы с тобой, Ваня, разлучимся, да неужели это правда, да нигде мы с тобой и не увидимся и не повстречаемся, никогда нам с сыночком так ясно солнце не посветит, никогда нас так уж солнушко не обогреет, ниоткудова мы про тебя, Ваня, ничего не услышим, никакой весточки ты нам уж не пришле-е-е-ешь. Ох ты мой сыночек, да не будешь ты знать отцовской ласки, никто тебя не приголубит, как отец, ох...»

Тут мне не давали больше плакать ночью: старые люди говорили, за покойником ночью плакать нельзя, грех. Потом долго ничего не было, никаких писем. Пошла я в военкомат, там заполнили анкету по адресу, где он последний раз шел в бой, и через девять месяцев мне принесли извещение явиться в военкомат. Помню, в субботу, под троицу, убрала я в комнате, везде травой потрусила и пошла. Разрешили мне войти, я села, меня стали спрашивать, где проживаете, какая семья, есть ли близко родственники. Потом выписал майор похоронную и зачитал, где отец погиб: Запорожская область, Васильевский район, село Зеленый Гай. Погиб за родину. Я оттуда не знаю как и вышла, подломились у меня ноги, затрясло меня, как в лихорадке, а заплакать я не могла.

— Плачь не плачь,— рассказывала она уже без Жени квартирантам,— а к зиме надо топливо запасать, иначе зима сибирская спросит, чего летом делал. Пошла в завком, чтоб выписали дров, а там говорят: надо идти поработать на лесоперевалку, три дня, потом вам выпишут. Вот я и ходила, трое суток работала за дрова. Встану рано, печку вытоплю, Жене сварю и закрою его одного на целый день. Так и добывала. Дали лошадь, возчика, перевезли. Уголь где мешок купишь, где ведрами брали. Выписала горбыля, стала строить сараюшку, горбыль толстый, я рублю, рублю, топор тупой, руки устают, зайду в избу, сяду на кровать, плачу, плачу, а Женя маленький был, подойдет ко мне и дергает: «Мам, не плачь, я подрасту, помогу тебе...»

Того горя Женя не помнил. Еще не было в его сердце места для горя. Он плакал, потому что плакал кто-то возле.

Письма от отца не сохранились. Мать склеила для них большой желтый конверт и берегла Жене на будущее. Однажды она белила и вместе с вещами вынесла письма в кладовку. За две ночи мыши источили их на кусочки. Она заплакала, не могла простить себе оплошности, и в те годы, когда Женя спрашивал ее, чувствовала себя перед ним виноватой. Письма пропали, пропали с ними слова, строчки, выведенные живой рукой. Как жалел Женя об этом потом...

Всю войну не растворяли они с улицы ставни, и вдруг грохнулся, упав на завалинку, болт, комнату озарило солнышко, и мать вошла, громко крикнула с порога в каком-то радостном отчаянии:

— Женя, вставай! Вставай, сынок, война кончилась!

Две большие кастрюли варенца и бутыль молока отдали они с матерью на базаре за бесценок.

— Может, и моего Ваню там угощают.— Она все еще верила в чудо.

На вырученные деньги купили хлеба, гидроли, мяса и водки. Десять рублей Женя получил на конфеты. По дворам пошли калеки и заброшенные в Сибирь войной одиночки.

С запада шли составы. Теперь Женя бегал на станцию со сверстниками. Всякий раз мать провожала его словами: «Ступай, сынок, а вдруг, да и встренешь папку». В раскрытых «телячьих» вагонах стояли солдаты, кричали, пели, махали руками и веточками и, когда поезд замедлял ход, бросали ребятишкам немецкие бумажки и монеты. «Если бы мой папка остался в живых, — думал Женя, протягивая руки к летевшим, как листья, бумажкам, — у, сколько бы он привез!»

То в праздники, то по случаю дня рождения или покупки костюмчика слышал Женя от матери: «Кабы был отец... Кабы встал да взглянул...» С этими словами проводила она его в первый раз в школу с новым портфельчиком и тетрадками и горько заплакала, чувствуя, как идут и ее годы.

О сыне же думала она, когда зачастали свататься мужики.

— Легла она спать, — рассказывали потом соседки, — и видит сон: входит почему-то к ней сам царь. «Здравствуйте», — поклонился. Она поднялась: «Здравствуйте, царь-батюшка». — «Знаешь что, женщина, — он ей, — услыхал я, что ты одна, мужика убило, хочу с тобой сойтися жить, со мной не пропадешь». Она: «Господи, батюшка! А у меня ж ничего нету, я как видишь, положить тебя не на что». — «Я не брезгаю тобою. Наживем. И у сына будет счастливое детство со мной». Он весь в военном, и шпоры бряцают на нем, погоны огнем полыхают, а лица не разобрать. Она, рассказывала, как сцепила руки: «Царь наш! Я боюсь! Тебе надо миром управлять, до моей семьи у тебя руки не дойдут. Спасибо, что хоть вспомнил». И проснулась. Встала, обдумала сон. Пошла старушкам рассказывать. Они и толкуют: «Раньше царя как увидят во сне, то обязательно беда будет. Не гонись замуж». Она и думает: «Ладно. Перебьюсь одна, а там жизнь подскажет».

И ему казалось: зачем приводить в свой двор чужого мужчину, вызывать пересуды соседей. Женя видел, как страдали его одногодки и ревновали матерей к «папкам», когда вечерами они ложились с ними спать на одной койке, как боялись признаться товарищам, что в семье их привился братик, сестричка...

И вот однажды подкатил к их дому «ЗИС-150» под номером «НБ 75-25». Из кабины вылез рыжеватый косолапый шофер с широким и чуть перекошенным носом, открыл борта, пробежал во двор, поднял с земли лопату и стал сгребать уголь на снег, потом таскал его в ведрах в сарайчик, а мать как-то заискивающе просила сына поднести пустое ведро, послала за хлебом и потом посадила Женю вместе с шофером за стол есть борщ. Шофер уехал и вернулся ночью, машина стояла у ограды. Женя спал, а проснувшись, увидел, что шофер умывается в углу под рукомойником. И мать несет ему чистое полотенце.

«Теперь о моем папке нельзя будет говорить, — подумал мальчик. — Теперь мы с мамкой вечерами будем молчать».

Женя укрылся с головой и лежал так, слушая тихий совещательный разговор, пока наконец шофер не хлопнул дверью и за воротами не зарчал мотор в машине.

Были в этот день мать и сын друг другу чужие и очень несчастные. К вечеру опять приехал шофер. И уже с подарками. Он неловко поздоровался, неуютно присел на краешек стула поужинать, хлебал без аппетита и хотел выпить побольше. Мать нарочно оставила их одних. Шофер, покурив, помявшись, вдруг сел к Жене на койку, положил тяжелую свою руку на плечо и сказал (Женя запомнил это на всю жизнь):

— Ну что, сынок... Родного папку твоего убило, маме одной трудно, мы решили сходиться. Буду тебе заместо папки...

Женя заплакал, и на глазах шофера тоже показались слезы. Он покрепче обнял мальчика и поспешно полез левой рукой в карман за папиросой.

Вошла мать, стыдливо замерла у порога. И села рядышком, затряслась.

— Ничего, — сказал шофер. — Нормально.
Это был Никита Иванович Барышников.

4 ноября 195... г.

Дорогой сынок, первым долгом поздравляю тебя с праздником Великого Октября, желаю тебе здоровья и успехов в учебе. Хотела тебе к празднику маленько выслать деньжат, ну раз ты пишешь «не надо», я отложу к следующему разу, целей будут. Смотри там сам, как сдумаешь съездить к дяде, если не такая холодная погода будет, конечно, посмотришь, как они живут в степях. Жена у него очень хорошая, она тебя встренет, как родного сына. Не обидься, сильно далеко, и у меня с деньгами плохо, негде зимой взять, летом-то с огорода, а сейчас негде взять копейку. Ребятам твоим — чего, у них матери инженерами работают, им можно разъезжаться, так что я тебе советую не вырываться на зиму домой, не обидься, благополучно все будет — на лето вырывайся как ни можно домой, все ж больше отдых, и к дяде я тебе советую, там побудешь и продуктов наложут на полмесяца, и так недалеко...

Мы с тобой ошибку понесли, надо было не брюки шить, а пиджак, брюки всегда можно купить, в общем покупай, а я маленько помогу, только на меня много не рассчитывай, корова бросила доиться на два с лишним месяца, налог принесли, на зиму все припасла: угля, думаю, хватит, дров тоже, только и беда, что сена не хватит, ну ничего, как-нибудь.

Женя, смотри, на праздник будь поосторожней, сходишь на демонстрацию, соберись там где-нибудь с ребятами скромно, но не так, чтобы перепиться и по улицам ходить-качаться, это, сынок, не дело, ты сам понимаешь... Я тоже маленько завела, хочу позвать соседей, они мне много помогли, да, может, еще придется. Бабушка у меня гостила, вчера уехала, не стала больше жить — так мне опять скучно одной: ребята-квартиранты разъехались на праздник домой, будут до 10-го, я сейчас сижу, 9 часов вечера, тихо, только слышно, как часы чикают. Здоровье нормально, но горло после отравления, как Никита Иванович помер, чего-то барахлит, никак нельзя воды холодной пить и как остыну... Сынок, жалею твою голову, что до сих пор ходишь без фуражки, купи хоть дешевеньку, пуще будут девки любить (шучу...)... Я хочу вам, студентам, предложить, сделайте вы свою кассу взаимопомощи, как получите стипендию, то скиньтесь рублей по 30 или 40, человек 10 соберитесь, и у вас очень хорошо получится, сразу куча денег, оно когда вместе — жить не так плохо...

Еще раз, сынок, поздравляю тебя с народным праздником Великого Октября... Целую, твоя мама...

Глава вторая

Как ни одинаково жили тогда сын с матерью, а каждому из них досталось еще что-то свое. Детство есть детство. Оно запало в сознании мальчика целиком, сплошной картиной, одним днем детства. Субботой или воскресеньем, как для матери, — он не помнил.

Матери же воспоминания достались совсем по-другому. И через

двадцать лет глядела она назад с озабоченным вниманием и различала каждый день. В любом году выделяла она именно те месяцы и недели, субботы и четверги, от которых что-то зависело. Одежда напоминала ей о стоимости жизни, о переменах, очереди за хлебом и клеенками кончились для нее в такой-то день, плакала или обдумывала зимование в такую-то погоду, приходила та-то соседка, приносила ей почта определенной раскраски конверты. Туда-то пошла она, подвязывая на ветру косынку в горошинку, которую купила в первом универмаге за столько-то рублей после распродажи, когда носила на базар две кастрюльки варенца, одну зелененькую, на сорок стаканов, другую коричневую, с обитой крышкой, и когда пустила последние стаканы подешевле, потому что подбежавшая Демьяновна шепнула, что в универмаге выбросили платки и косынки и еще не разбрали, хотя баб набежало уйма и ты, мол, иди поскорей, а я отнесу кастрюли, скажу Жене, где ты есть, и передам, чтобы он разогрел борщ под столом и потом спрятал электроплитку, иначе оштрафуют, раз простили, другой не помилуют.. И столько такого засело в голове навсегда!

Бежит мать то с базара, то из магазина (всю жизнь бежит перед глазами сына куда-то) и рада, что мало денег истратила, будет в жару что накинуть на голову, хотя лучше бы купить Жене рубашку, но рубашек хороших нет, она смотрела, на рубашку она скопит в следующий раз, коровка прибавила молока, и после работы хорошо берут варенец, надо бы назавтра еще две кастрюльки заквасить, если Женя не вылил остатки. Сидит там один в ограде, ребята в пионерлагерях, а ей отпраздновать его невозможно, к тому же не на кого бросить дом... Бежит мать, торопится, думает. Бежит, торопится — и так всегда. И все помнит. «Физонька, — повстречала ее в тот день товарка на площади, — как живешь, милая? Ой, Физа, а мы так часто вспоминаем тебя, жалеем, давно собираемся в гости, да тут муж с весны головой мается. А Женя твой как? Хоть бы повезло тебе: ведь ты больше всех счастья заслуживаешь. Заходи обязательно, я знаю, что некогда, ну загляни, как будет минутка, мы тебя как родную вспоминаем: «Как там Физа, как там Физа...»

Как тут забыть.

Отчего позже в воспоминаниях Жене не хотелось жить своими воспоминаниями от кинофильмов, купанием в речках, разбитыми губами и синяками под глазами, мечтательными вечерами на болоте? Отчего своя тогдашняя жизнь, свое детство утратили с годами интерес сами по себе, а скрытые переживания и хлопоты матери явились насущной заботой его памяти, отчего он так стремился приблизиться хоть на шаг к ее сердцу и поглядеть на то время не своими, а ее глазами?

Так всякое росное утро сидел Женя на еще холодных приступках крыльца и следил через низкий забор за пастухом. Пастух (то старик, то мальчик, то женщина) появлялся в любую погоду в плаще и с сумкой наперевес, в уголке которой белела головка бутылки с молоком, звонко щелкал бичом, дудел в свой рожок. На востоке, за базаром, точно подтаивала светом окраина неба. И пока просыпались, торопливо стучали друг к другу в ставни соседки или вскрикивали во дворах, хлопая ладошками по спинам своих Зорек, Катек, Буренок, свет разливался и уже проникал в пасмурные, с примятыми постелями комнаты. Если подумать, если разом представить всю русскую землю, то опять покажется вопреки расстоянию и разным часовым поясам, что каждое утро миллионы женщин в эти минуты провожали на дальних просторах в стадо коров — на торфяную пустошь, на луга, на лесные поляны... Столько места занимали в жизни коровы, и каждая сберегала по себе память, как человек. Даже имена-то они носили какие: Юля, Зоя, Катя... И когда они вздыхали по ночам в утепленных сибирских стайках, не так одиноко вроде бы

становилось на душе у хозяйки. Сколько было переживаний у матери, если корова оставалась на зиму нестельной. Захватывает зима, в доме ни денег, ни сена. Живи, как можешь. Корову хоть раскорми, она на кружку прибавит — и все. «Им чего, — говорили в казенных домах про хозяек, — каждый день выручка, молоко свое, деньги в чулки прячут, в стены замазывают». «Им чего, — возражали хозяйки, — сделал не сделал — руку в кассу протягивают два раза в месяц, вынь-положь, а тут как осень — сена добудь, пойла, встаешь, только и болит голова — чем кормить, как до весны дотянуть. Что наторгуешь, то и отдашь. Попробовали бы подержать!»

Услыхала Физа Антоновна, что продавали на другой улице корову — молоденькую, стельную. Продавали потихоньку, по знакомству. Просили за нее дорого. И упускать не хотелось: дешевле не найдешь.

На следующий день поехала Физа Антоновна в город на толкучку сбывать патефон. Патефон был не старый, только поставила хорошую деревенскую пластинку — и тут же набежали покупатели. «Тетечка, — сказала одна женщина, — или как тебя звать, ты еще вроде молодая... Может, сбавишь?» — «Я бы никогда не продала, — пожаловалась Физа Антоновна, — но мне на сено. Да корова нестельная. Это у меня сынишина память, отец покупал, когда уходил на фронт. Я тебе адрес дам, я не какая-нибудь спекулянтка или обманщица».

Сторговались, мать спрятала деньги за подкладку пальто, даже в избу свою не зашла, побежала к соседу через огород договариваться. Ткнула корову в бок: и стельная и красивая, но очень, очень дорогая. Пошла советоваться.

— Как ты мужик, — сказала она Демьяновичу, мужу Демьяновны, — посоветуй.

— Спеши, — сказал он, — кто знает, что будет после реформы.

— Заколоть на мясо свою, что ли?..

— Колоть, — сказал Демьянович, — одни кости. На бойню дай, за место заплатишь да рубщику, еще меньше выйдет. Веди живую.

Всю ночь не спала, думала: у кого занимать денег? Еще вечером пообещал ей полтысячи Демьянович, но сразу не дал, просил зайти утром: на ночь, говорили старые люди, денег не занимают, деньги тогда перестанут водиться. Утром Физа Антоновна привела новую корову, приставила к сену, в залог отнесла плюшевое пальто, повела свою кормилицу по морозу в фуфайке на базар. Корова сроду была неаккуратная, где наляпает, так и ляжет, к бокам присохли кизяки, мать почистила ее железкой, оттерла, корову тряслось, и она покрыла ее на базаре распоротым мешком. Демьяновна, в душе уже готовая обмывать продажу и покупку, увязалась с матерью, не скажешь же «не ходи», потом, может, и правда с ее язычком полегче столкнуть корову.

Киргизы пощупали:

— Одни кости.

— Какая ж корова без костей? — сказала Демьяновна. — А у вас мясо на чем держится? Худая баба и то молоком дите кормит.

— Зубы шатаются.

— Коронки вставишь. Ей не улыбаться, не видно.

— А теленочек?

— Гуляла осенью, — робко соврала мать, — стельная.

— Сейчас уже и коров честных нет — все гулящие, — сказала Демьяновна.

Все-таки дали за корову мало.

— Много добавлять, — горевала Физа Антоновна.

Полезла она дома в подпол, нагребла четыре мешка картошки, положила на санки и скоренько на базар. Употела. Ведерко стоило уже сто

пятьдесят рублей. За мешок выручила рублей девяносто. Наступал вечер, и она вспомнила, что еще не уплатила налог. В кассе народу толпилось, как на вокзале. «Кто-то, видно, пожалел меня», — вспоминала она позднее, потому что едва она заплатила, банк закрыли по случаю реформы. Было пять часов вечера, и многие заплачали. Вот оно, счастье, благодарила она бога, и дома, раскаявшись, сразу же вынула из стола маленькую икону, лежавшую там в уголке за чашками и кусками хлеба со дня похоронной, вытерла ее чистым полотенцем, попросила тихо прощения и повесила в уголок над кадкой с фикусом.

«Чем теперь отдавать?» — думала она. Вечерами она терла с Женей картошку, утром пекла из нее пирожки с капустой и бежала, пока они горяченькие, раздать по малой цене рабочим, заглядывавшим в обеденное время на рынок. Тут сучка принесла пятерых щенят, дымчато-сереньких, милых, и она побросала их в старое ведро, укутала тряпочкой от мороза, стала в ряду, где продавали тазы, гвозди, краску и всякую утварь. Может, кому и понадобится щеночек, не великие деньги, а все же копейка. Щенков мигом расхватывали женщины из казенных домов.

— Что-то мало я наторговала, — только и слышал маленький Женя. — Значит, сначала я понесла кастрюлю варенца и бидончик молока. По сорок стаканов, Женя, — это сколько будет? А ну давай считать. Потом вернулась и еще кастрюлю зеленую на тридцать стаканов. И сметана. Две баночки. Это уже сколько? И творожку килограмма два. Разобрали, хватали, как с огня, еще-ей просили поменьше отпускать. Сколько ты насчитал? Чего ж не хватает, а ну в правом кармане посмотри, не завалялось? У меня ж чуть деньги не стащили, да стащили уже, женщина толкает меня под ногу, гляди, кастрюлю твою понесли, ай, а там выручка. Спасибо, дяденька поймал парня, так я как дала с размаху кулаком по морде, не знаю, откуда и смелость взялась, он сопляк, наверно, в десятом классе учится... Сиротские деньги унес...

«Ну, тетка, берегись...» — пригрозил парень, а в толпе, заметила она с острой от страха наблюдательностью, шныряли его дружки-оборванцы со злыми глазами.

Суеверная боязнь бродяг и хулиганов засела еще с войны. Там постучали, обманом вошли в избу и прирезали одинокую женщину, вещи на санках увезли; там в подполе закрыли старуху; там в очереди деньги вытащили. Как вечер — сиди и трясишься.

Вышла она с базара, оглянулась через несколько шагов: за ней следят четверо! И люди кругом идут, каждый по своей тропке, но кто встрянется? Ну все, думала она, подбегут, ударят в затылок — и прощай. Впереди пусто, далеко-далеко дяденька хромает.

«Пойду по другой дороге, — решила она, — запутаю след, домой нельзя, выследят, где живу, и ночью залезут».

Она свернула, догнала дяденьку с сумкой, вцепилась ему в руку, быстро объяснила, в чем дело. А дяденька был слабенький.

— Я вам заплачу, только доведите меня, — попросила она, — там на Лагерной у меня знакомые, а то мне голову проломят, у меня сын растет...

Но дяденька довел ее не до конца.

Два камня пролетели мимо, третий, самый тяжелый, попал между лопаток. Как они в голову не угодили, вспоминала она после. Так бы и раскрошили. Она плакала всю ночь, жалуясь на судьбу, обращаясь к засыпанному в запорожских степях мужу: «Милой мой Ванечка, если бы ты знал, как мы живем без тебя, как нам достается, и зачем тебя скосила немецкая пуля, мы так надеялись, что вернешься, ты и в письмах писал — обещал, а чужие мужья пришли, тебя нет и нет — и косточки твои гниют... А сегодня сиротские деньги хотели отнять...»

— Мам, — приставал Женя, — ну купи мне детский велосипед. Ребята катаются.

— У ребят отцы есть. Когда, сынок, вырастешь да начнешь зарабатывать, тогда узнаешь, куда копейка летит. А патефон, что отец подарил, мы как-нибудь вернем. Не плачь.

И Женя ждал, когда это время наступит.

В жизни вечно чего-нибудь ждешь. Сначала они ждали отца и окончания войны. Потом опять ждали отца, особенно в День Победы. Ждали, чтоб погуляла корова, чтоб отелилась, чтоб стало дешевле в магазинах. Соседи, как заметил мальчик со временем, тоже чего-нибудь ждали, ложились и просыпались с этим чувством: ну вот еще немного — и оно, желанное, наступит. Годы летели, мать проводила сына в дальнюю дорогу и молила теперь, чтобы скорее пронеслись пять лет учебы, иначе в случае ее болезни он никогда не выучится.

Женя рос хрупким мальчиком и, кажется, во всем понимал мать. Без упрека и жалоб принял он через два месяца после прихода Никиты Ивановича неожиданно появившегося Толика. Никита Иванович давал слово не отрывать своего сына от матери. Но получилось по-другому.

С женой своей Никита Иванович и до войны жил плохо. В мае 44-го прислали ему соседи письмо, из которого он узнал, что жена его вовсю гуляет. Он перестал писать.

Они разошлись.

Мать увезла Толика в Алма-Ату, сдавала его несколько раз в детский дом, он сбегал, она посыпала его на вокзал, учила притворяться беспризорным, чтобы подобрала его милиция: ребенок мешал новому мужу.

Физа Антоновна уже стала привыкать к Никите Ивановичу, снова насыла на нее бабья забота — стирать мужу рубахи, выряжать на работу. Успокаивала ее на первых порах и старательность Никиты Ивановича. Он торопился домой с работы натаскать воды, почистить у коровы, наколоть дровишек. Физа Антоновна стирала, гладила, обшивала, по несколько раз белила печку, и когда он, помывшись, садился у окна к столу, старалась угодить, покормить свежим и потом убрать возле рукомойника, взяя тряпкой под табуреткой и рассказывая, где была днем, кого видела и что продала-купила.

Подвыпив, Никита Иванович пускался в обещания.

— Физа! — вскрикивал он, поднимая в руке вилку. — Вот пусть Демьяновна будет свидетелем: через год нам вся улица позавидует! Первым делом разодену тебя, как принцессу, будешь, ехор-малахай, на базаре варенцом торговать в шелковой шале, как цыганка. Смеешься, старенька, а я тебе говорю точно: позавидуют нам. Ладом позавидуют. Парников настрою с отоплением, сделаем водопровод, веранду со стеклом, вот только шиферу на крышу пока нет, ну это уж мое двадцатое дело. Коровенку до февраля подержим — и за рога на бойню, я, слава богу, как-нибудь больше тыщи приношу в месяц, хватит... А как отпуск, в Сочи поедем, куплю тебе купальник, поедем людей пугать... Верно, Демьяновна?

— И меня возьмите. — Демьяновна сплевывала семечки и хихикала. — Я буду бутылки из-под пива сдавать.

— А это уж от тебя зависит. Как твой Демьянович решит: опасно тебя, девку, пускать?

— А он давно знает, что я любого залягаю.

— В Большой театр повезу старушку. «О, Ольга-а, отда-ай мо-ой па-ацелу-уй!»

— Там таких, как мы, непускают. Там в таких нарядах являются, а я в чем — в фуфайке, что пятый год таскаю?

— Ничего. Будешь у меня не хуже королевы. Не сразу Москва строилась. Да, жить можно. Вот только бы дом кирпичный поставить. Заломлю на всю улицу — ахнут! Старенька, гадом быть, раз уж сошлись — постараюсь. Лишь бы это дело (щелк по горлу) не подкачало. Разным кирпичом уложу, с железнодорожного моста видно будет. А что? То ли мы беднее других? Хуже мы, что ли, Утильщика, вот он забор покрасил, подумаешь! Было бы здоровье! Садись, Демьяновна, поближе, Никита Иванович зря не треплется.

— А я, сваток, так и сразу поняла: ты с себя скинешь, мне отдашь.

— Э-э, хитра-а, сучка. Ну уж для тебя разве, ладно, себя обижу, а тебе отолью. — И он подлил ей из своей рюмки водочки. — Ладом, ладом. За мозоли! Видишь мозоли? Никита Иванович покажет вам.

Неожиданно он сказал как-то вечером о Толике. Два-три дня ходил мрачный, охотнее возился в хозяйстве, чаще спрашивал: «Физа, тебе помочь?» Потом сел возле печки, тяжело сопя кривым толстым носом, следя за женой, мывшей после молока глиняные крынки.

— Чего это ты зарядил каждый день? — спросила Физа Антоновна. — Денег некуда девать?

— А что нам деньги... Деньги — трава, корове под хвост.

— Вот новое дело. Вокруг денег вся жизнь вертится. Ни шагу не шагнешь. Нонче за деньги и ценят.

— Стариенка... Богаче, чем есть, человек не будет. Была б голова и дети здоровые...

— Чего это ты детей вспомнил?

— Толик, сын мой, приехал... — ответил он. — Как ты на это посмотришь?

— Как я посмотрю... — Физа Антоновна сразу окаменела. — Ты хозяин теперь... Не знаю.

Она вышла, будто бы понесла ведро в сенки, на самом же деле скрылась от растерянности.

«Война проклятая», — первое, о чем подумала она и тихо заплакала. Она принимала Никиту Ивановича одного, но чтобы жить вчетвером — такого уговору не было. Она, Физа Антоновна, по своему мягкому, доброму характеру и в угоду хорошей молве вынуждена будет кое в чем отказывать своему сыну: ладно, мол, свой, он поймет, перетерпит и не обидится. Неродное — оно капризное. Положиши все силы, ни с чем не посчитаешься, а потом, не дай бог, как в один прекрасный день заявит: ты чужая тетка, ради себя да сына своего жила, была неродной, неродной и осталась.

Про себя она знала с первых же минут, что не откажет, потому что рядом со всеми ее осторожными женскими размышлениями вились, как мошки, мысли о Никите Ивановиче. Уже жалела его она своим слабым сердцем.

— Буду, — сказал Никита Иванович. — как штык! Одной семьей, о, да там мы не пропадем. Слава богу, бычка за рога возьму и в землю упру, а где здоровье, там и деньги. Да мы вчетвером лучше Утильщика заживем, Женя, глядишь, кастрюльки тебе подтащит, Толик в стайке подчистит, я, — тут он лизнул языком по губам, — печку растоплю. Если ты дозволишь, старенька, — стал он дурачиться, — если ваше величество доверит...

— Да я чо... — сдавалась уже Физа Антоновна, — я не против, лишь бы оно не вышло, как у людей бывает: тот себе, этот себе, переругаемся.

— Не послушают мать с отцом — по обоим палка походит одинаково. А там выучатся, с нас уже песок посыпается, глядишь — один да принесет на четвертинку.

Он прослезился и обнял Физу Антоновну дурашливо, по-молодому, довольный, уже чувствуя полное согласие, затем пустился скоморошно приплясывать, кривляясь под какого-то артиста, и наконец стал на колени по-старомодному и заключил:

— Если бы не мой бы Алексей, то Кипина Дунька замуж не вышла! И так, и сяк, и жизни сок, и тихо сыпется песок! Нормально! Нормально! Так и заживем. Никогда плакать не будем.

Когда он уже покойно спал, в окошко торкнула Демьяновна. Она пришла как бы по делу. По плутоватым ее глазам Физа Антоновна поняла, что Демьяновна знает обо всем больше ее. Такая уж судьба была у Физы Антоновны: ничего ей не удавалось скрыть от людей.

— Он до того, как домой прийти, у нас сидел,—шептала Демьяновна.— «Не знаю, говорит, что делать. Хочу вас попросить, чтоб поговорили с моей,—приврала она.— Как она уж вам доверяет, вы с ней подружки...» А, чую, выпить хочет с горя. У меня было в подполе немножко, полезла,—опять присочинила она,—налила ему, кувшинчик целый выдули с моим Демьяновичем... Конечно, говорю, не так просто Физе: ты вот пришел без ничего, то тебе рубаху, то брюки, теперь сына, дай-ка примет — тоже обувай, одевай... А вы, мужики, только по первости миленькие, потом: раз стопочку, два стопочки, а ей думай, выкручивайся. «Я до копейки несу, как Утильщик». Утильщик, говорю, че-го,— сочиняла и сочиняла Демьяновна,— они богатые, спят по-английски: головы шубой накроют, а задница голая. Сама ходит в бархатном платье и кирзовых сапогах. Вы не такие культурные. Ну ты чего: решила? Ой, смотри, Физа, как бы хуже не пришлось. Я разбивать семью не хочу, мое, конечно, дело маленькое, только так может получиться, что он своего сына выучит, а ты своего на работу пошлешь. Не соглашайся.

— Хуже не будет,—решительно сказала Физа Антоновна и, отвернувшись, поморщилась от ее советов, как от боли.

— Не слушай, Физа, никого,—сказала наутро тетя Паша,—людям абы воду толочь. Тебе жить, ты и решай сама. Она, Демьяновна. такая. Здесь одно, там другое. Миленькая моя, какая ты хорошая, я гляжу на тебя и как пожалеть — не знаю. Кабы я была побогаче, мы бы с тобой объединились, и никого нам не надо. Любовь наша прошла, не воротишь, таких уж, как у нас были мужья, нам теперь не найти, ми-ляя...

Март 195 ... г.

Здравствуй, Женя, с приветом твоя печальная мама. Как получу твое письмо, обязательно безумно расстраиваюсь от твоей жизни. Пишу письмо, сердце волнуется, а много помогать — нет моих сил. Корова мало дает, зубов у нее нет, сено плохо ест, жмыху купила, картошку тру, а выжимки корове. Всю зиму никуда не хожу, тру картошку, 200 стаканов крахмала натерла, как-то надо выходить из положения. Принесли еще налог на огород, за квартиронтов, за выгон, что корову пасти.

Ты пишешь, что стыдно просить, а до стипендии далеко, ничего, сынок, не сделаешь, у кого ж ты будешь просить и кто тебе посочувствует, как не родная мама. Я продала теленка за 400 рублей, купила поросенка за 200, завтра пойду платить налог — 500 рублей, и снова остаюсь без копейки, ну ничего, как-нибудь, куплю кулей 10 картошки корове, наверно, придется колоть, надоела она мне. Без коровы тоже плохо. доходу нет, а расходы идут каждый день, ну ничего, буду тогда привыкать... Здоровье мое прекрасное.

У нас настоящая зима, сегодня буран, пишу письмо и поглядываю на запад. Милый сыночек, как ты от меня далеко...

Ложу в письмо 10 рублей.

Глава третья

В одном прекрасном месте на берегу реки
Стоял красивый домик, в нем жили рыбаки...—

пел каждый вечер хрипловатый пацаничий голосок на крылечке, и короткие пальцы с чернотой под ногтями скребли ржавые струны маленькой гитары.

Один любил крестьянку, другой любил княжну,
А третий молоду-ую...
Утильщика жену! —

кончал вдруг, высовываясь из уборной, Никита Иванович становился в позу эстрадного певца.— Ля-лям, ля-лям-лялям! Выступают на проволоке отец и сын Барышникивы.

Толик, очень похожий на отца жестами и выражением лукавых глаз, такой же потешный, как он, с родимыми пятнышками по щекам, с торчащими ушами, которыми он умел шевелить, как циркач, с первого дня полюбился Жене своей бродячей опытностью, ужимками и простодушной лаской. Он по-отцовски облизывал язычком губы и подмигивал Жене, готовый повторить все отцовские ужимки.

— Ух, ехор-мохор! — копировал он его.— Старенька, нема делов. Если бы не мой бы Алексей, то Кипина Дунька замуж не вышла! Вообще-то вы все боязки...

Физа Антоновна чистила картошку и улыбалась:

— А похоже.

Без отца им уже бывало скучновато, они ждали его, и если была получка, точь-в-точь передавали матери его появление, реплики, песни, вопросы, его при этом всегда богатые планы на жизнь, страсть пускать по ветру деньги.

Утром мать будила их в школу. Женя спал справа от входной двери, напротив печки. На зиму вносили в комнату клетушку с курами, в январе топтался возле стола теленочек, и Женя стеснялся водить к себе товарищей из культурных семей. Ходила же к ним вся улица. Иногда Физе Антоновне надоедало мыть каждый день пол после гостей. А почему-то же любили скротать свободную минутку у нее. Идет человек из бани — не может миновать Физино крыльца. Плохое настроение у соседки, куда пойти: пойду-ка к Физе Антоновне, пожалуемся друг другу. Недостаток какой — Физа Антоновна поделится молочком в долг, картошкой, деньжатами: только просить надо не сразу, потом, при прощании. Она на секунду замолчит, вздохнет коротко и уже виновато, как будто у нее тысячи в огороде закопаны: «Да где они у меня, деньги» — и тут же вынесет бумажку: «На, у меня от базара осталась». А отдавать Физе Антоновне можно не сразу, она сама не напомнит: ей стыдно вернуть свое, она лучше перезаймет, чем краснеть да придумывать, почему позарез нужны деньги. С появлением Никиты Ивановича ее и вовсе стали считать самой богатой, от попрошаек не было отбоя, а мужики по вечерам приходили подымить, поболтать о международных событиях. Вообще-то Физа Антоновна редко сердилась, так уж, когда кто-нибудь сильно заденет или бессовестно поведет себя, не понимая, что и у нее рубахи не золотом шиты, и у нее руки заняты, и некогда прохладиться до ночи хиханьками да хаханьками.

А в другие лни поднимались они с Толиком рано — солнышко еле

брежило на востоке, лежала роса на заборе,— они выбегали в труси-ках и выбирали на крылечке место с солнечным пятном и сидели в еще солнном дворе, зябко сутулясь и грея между колен руки, поглядывая то через огород на низкое вдалеке болотце, то на захлопнутые ставнями дома, в которых еще валяются на постелях сверстники, и вид родных мест, дорожек, лавочек, широкой поляны, где они бегали, обкалывая ноги, спросонья казался знакомым и все-таки немножко позабытым за ночь... «Чего это вы,— удивлялась мать, проводив корову,— спали бы еще. А то за хлебом идите».

Белого хлеба давали тогда только по одной булке. Инвалидов пускали без очереди, малышня с сумками и авоськами терлась среди мужиков, которых по выходным дням набиралось особенно много, каждый что-то выгадывал, лез вперед другого. С тех пор часто удивляла Женя эта иногда возникающая ненависть между людьми в толпе, в кассах, в очереди, пропадало куда-то сразу сочувствие к больным, к инвалидам, уже можно было давить, толкать, топтать друг друга и лишь бы пролезть, протащить свое тело к дверям, больно надавливая локтем в чью-то женскую грудь. Потом, выбравшись с булками, люди шли мирные и хорошие, делились своей жизнью, помогали нести сумки, подсаживали в трамвай, желали друг другу удачи и здоровья. И краснорожий, тучный рубщик с мясного прилавка, всю войну откыдывавший себе в ведро кусочки мяса за услуги, притворно хромая, давил сзади на толпу, кричал: «Не за то кровь проливали!» Он нагло выносил пять-шесть булок и, слыша вдогонку дразнящие крики Толика: «Я Бе-е-ерлин брал! Я кровь мешками проливал!» — не оборачивался, не злился, а как бы даже радовался: «Кричите, так вашу, не умеете жить, ну туда вам и дорога...» И Женя потом не раз поражался, если на базаре, торгую телочкой, мать приветливо здоровалась с рубщиком, безропотно отдавала ему тяжелый кусочек мяска и еще благодарила его за что-то, совала ему в руку на сто граммов и прощалась почему-то довольная. Всем, чудилось, задолжала его мать, и только ей никто ничего не должен.

Подрастая, Женя чаще и чаще мечтал о том, как в будущем, когда он выучится, построит матери двухэтажный дом или получит за какие-то геройские заслуги большую квартиру со всеми удобствами и будет привозить мать на Широкую в гости на легковой машине, а если его зашлют далеко, будет высылать ей дорогие подарки и крупные суммы денег. Тогда станут говорить по улице, какой умный у Физы Антоновны сын, и тогда вспомнят, как жили они без отца во время войны и после. Женя ложился спать в прохладном чуланчике и с каждой минутой воображал еще более радостное: вот через несколько лет после Победы отворяется дверь и входит его отец! За двором стоит новая немецкая легковая машина, которую уже лапают пацаны, на руке у него не игрушечные, а настоящие золотые часы, у него фотоаппарат, снимающий на целых три километра, знаменитый немецкий аккордеон, звучный, с регистрами, на голос которого сбегутся все пацаны и попросят потрогать беленький клавиш, и еще велосипед, и губная гармошка...

Однако лица отцовского Женя представить не мог. И как только он пытался это сделать, перед ним выплывал Никита Иванович, косолапый, с широким ртом и улыбкой, и мальчик терялся: а куда же тогда деть Никиту Ивановича? Мечта рушилась моментально, и становилось больно от жалости к Никите Ивановичу. Он вообразил, как грустный Никита Иванович складывает свои вещички и мирно прощается, уходит навсегда в неизвестное место, неизвестно на какую жизнь вместе с Толиком, который умеет шевелить ушами. И вот они уже за воротами, большой и малый, печальные-печальные, с гитарой через плечо, они уно-

сят с собой все, к чему Женя привык, оставляя Женю одного по утрам, когда они с Толиком соскребали ложками жареную картошку, встречались в школе на перемене в буфете, тут же договариваясь, кому подносить с базара кастрюли, и сучка Розка убежит, видно, вслед за ними, и погаснут смешные шутки Никиты Ивановича.

Посторонние звуки — хруст соломы в стайке, где за сумрачным оконечком пускала слону корова, звон капель по пустому ведру — постепенно отвлекли Женю от странных мечтаний, и он осознал, что никто никогда не придет и не выложит подарков. Никто не придет, даже писем прежних не воротишь.

Мать доит корову, потом цедит молоко в темную крынку и заставляет Толика садиться за уроки.

— Отец явится, он тебе даст. А Женя где? Женя, сынок, что ты там?

— Скоро отец будет? — Женя уже хотел видеть его.

— За угол не зацепится, так вот уже должен. Пять уже есть?

В половине седьмого Никита Иванович показывался в дверях, и было стыдно думать, что Женя только что прогонял его, обижая, а он вот стоит в замазанной шоферской одежде и радуется:

— Что, мужики! Силу у отца захотели попробовать? Ну, давай!

Женя и Толя прыгали на него, сопели, повторяли его словечки.

— Фамилие? — Он брал за руку одного из них и чуть выворачивал.

— Па-ап! О-а-а-а, бо-ольна-а! Пусти-и!

— Не пробуйте у отца силу... Ох, старенька, а я жрать хочу.

— Кипит уже, потерпите минутку, воды вон принесите: тарелки мыть нечем.

— Взвод! В одну шеренгу! Ведро знаете где? Колодец? Давай! Одна нога там, другая здесь... А красненькой нальешь? — спрашивал он у жены. — Так уломался на работе, насчет толя срядился, — прихвастывал. — Ну, стаканчик, ну ты же видишь, я как огурчик. Нема делов. Жизнь с каждым днем все лучше, да и работа пошла веселее, — с акцентом говорил он.

195 ... г.

... Я, Женя, на работу устроилась в техникум за базаром, на вешалку полть выдавать, хожу через день по 14 часов, бывает, когда перемена, то 3 дня подряд выходит, в общем 12 дней в месяц, уже получила свои денежки трудовые, работа не чижолая и близко, я даже довольна, что буду с народом, а то только и возись с кастрюлями. В мае гардероб закроют, если не найду работу по силе, перебьюсь лето с коровой, а там в сентябре опять... Мотаюсь, сынок, вовсю, а ты учись, государству пригодятся ученые люди, и мамке твоей радость, во всем нашем роду один ученый будет.

Извещаю тебя, что помирают на улице старики, один за одним, начали уже и фронтовики помирать от ран и болезней, а молодежь свадьбы гуляет. Толик приезжал проводить из Алма-Аты, так до сих пор и зовет мамкой, работает мотористом на кране, попал в аварию, кисти рук перебил, срослось, слава богу. Ухватками весь в отца своего. Жениться не думает, меня, говорит, бревном еще не стукнуло, никогда не поздно.

Мое здоровье пока ничего, приехала бабушка, сидит у печки, вяжет рукавички, жалеет тебя, а я собираюсь идти зубы дергать, потом запишуся на очередь, буду вставлять. Это не раньше, как через 3 месяца, очередь большая за стальными зубами...

Глава четвертая

Бабушка наведывалась обычно по осени, к Новому году или на великий пост.

Она жила близко, но старость и нескончаемый круговорот обязанностей в своем доме держали ее на месте, в деревеньке.

Никита Иванович сперва ей понравился, по веселому своему характеру напоминал первого, всегда хвалился: «Ко мне теща приехала», любил, заметила она, прихвастнуть. Хвастаться умел и смешно и приятно, и бабушка хорошо проводила время в гостях, а вернувшись в деревню, вспоминала и побаивалась за дочь. Очень уж покорна дочка в семье и лишнего не скажет.

— Ты не поважай его,— сказала бабушка в первый раз.— Потом хватишься, да поздно. Толику пальто спрятала наперед, а в чем Женя переходит зиму? Меньше Демьяновну приглашай. Она, пока выпивает, и хорошая, «милые да родные мои», а вышла со двора— еще и набрещет. Она вот подсела, да и говорит: «Никита Физе синяк посадил на прошлой неделе». Скажи: правда бил?

— Да что вы, мама, какой мне интерес скрывать? Ну, пошумит когда, за что меня бить? Выгоню и сапоги вдогонку покидаю.

— Знаю я тебя. Переплачешь— и опять за то же.

— Вы говорите: Толику пальто спрятала. А как же вы хотели, если решили жить? Надо считаться. Мальчишка смиренный, я ему куплю, а он должен Жене припасти, если сознание будет. Делю всем по ровному кусочку. Я первая пример подаю, пусть видит, а как же иначе?

— Да оно-то так,— скажет бабушка.— Нам сроду ясный месяц не светит. Мы сроду чужие прорехи закрываем своим рукавом.

— Намучимся — научимся.

— Себе тоже пальто спрять. Сорок градусов, а ты в фуфайке бегаешь.

— Налоги будут поменьше — уж на будущий год справлю. Снижение цен обещают.

Запомнились Жене долгие беседы с матерью перед приездом бабушки. Никита Иванович где-то прохлаждался у соседей. Толик противорал валенки, гоняя клюшкой хоккейный мячик, в доме жарко пылала печь, мать либо стяпала, либо варила в чугунках картошку свинье, сверяла ходики по радио, чтобы назавтра пораньше встать и встретить бабушку, а то она старенькая, сколько раз уже падала, пока пробиралась в сумерках на горку от станции.

— Тоже вот и бабушка,— говорила мать, присаживаясь.— Молодость ни за что пропала, потом мы выросли, к кому ни поедет — только расстройство: один болеет, другому не везет. Чем больше стараешься, тем тяжелее...

Потом, ставши взрослым, Женя со вниманием думал о материной молодости. Была ли она счастлива? Любил ли ее отец?

— Когда стала я взрослой,— рассказывала мать,— как называется, девушки, то познакомилась с твоим отцом. Вот бабушка услышала — в деревне бабы сразу как в колокол брякнут,— давай меня ругать, на улицу не пускает: он, мол, тебе не пара, ему скоро в армию идти, а ты еще чего — молодая, обманет, надсмеется, был да нет. Да он бабушке и красотой не понравился — курносый, вихлястый и матерщинник первый. Дождали лета, а мы все же продолжаем встречаться, бабушка выглядывала меня на пороге, не хотела страшно.

В десятом классе Женя впервые прибрел домой поздно, намерзся

у подъезда и не поцеловал свою девушку, а мать открыла ему заспанная, легла и, чтобы услышал Никита Иванович, построжилась:

— Какая тебя приморозила? Хорошая спит давно.

Женя вспоминал потом ее слова:

— Однажды поговорила бабушка с соседкой, говорит: «Поеду в город, отвезу ее туда, найму в няни, чтобы она не с ним встречалась». Уговорила меня. «Поедем, найму тебя на несколько месяцев, ты там заработкаешь и оденешься, будешь видная девушка, а от Ивана отстань, лучшего себе летом найдешь, ты неплохая, не какая-нибудь Нюрка рябая». Куда денешься в таком возрасте? Поехали. Бабушка стала чем-то торговать, а я в няни наниматься. Сколько домов обходила по разным улицам, никому няни не надо. Зайду в дом, постучу, там уже нашли. И так я ходила полдня, сполняла мамина приказ, нигде и не подыскала. На конце города жила мамина племянница. «Давай туда заедем, может, у нее там по соседству кому надо няню». Заехали. «Не знаешь, кому надо домработницу?» — «Да нет, тут у нас никто не держит. А кого ты хотела отдавать?» — «Физу хотела оставить, боюсь, рано взамуж выйдет. Там познакомилась с этим Иваном, а они такие, эти ребята, женятся, а потом от жен бегают». Зимой дело было. Помню, на крещенье приезжают меня сватать братья отцовы. На серой лошади. Поставили лошадь к соседу, взяли свою булку хлеба (повязана была белым платком), оба подвыпимши, с палочками, как и положено. Ох, давно как было. Постучались, заходят. «Здравствуйте». Ну, здравствуйте. Мама рассердилась, не принимает гостей, то есть сватов, не проводит их в комнату. Потом кой-как пробурчала: «Проходите». Они положили хлебы на стол и стали объяснять, зачем явились. «У вас, говорят, девушка есть». Мама: «Я, мол, не отда姆, она у меня молодая, я, мол, ей еще и приданое не готовила». — «Ладно, сами наживут». Мать ни в какую. Когда пришли в третий раз, то мама была уже помягче, запросила с жениха большой калым. У него в дому того не было, просто чтоб отвязаться, может, какими судьбами отстанут. Ушли сватовья, и вздумали мы через неделю уйти убегом.

Зашла к соседям вечером поздно, и оттудова отец твой не пустил меня домой. Соседка нас благословила, и мы пошли по огородам, по садам. Пришли к его дому, были сестры, и брат его лежит на печке. «Вот так бы и давно», — говорит. Три дня не являлись, конечно, я маму крепко обидела своими неприятностями. Потом на четвертый день пошли мириться. Мама сидит у печки, поздоровались, я разделась и заплакала. Мама и говорит: «Рано плачешь. Раз посамовольничала, так не плачь». Отец твой уговаривает, называет мамой, «давайте помиримся, простите нас». Он был боевой, смелый. Мама встала, пошла в другую комнату, пододелась и вышла опять на кухню, мы сразу попросили у нее прощения и поклонились в ноги, поцеловали ее. Жалко ее было, такое сиротское чувство у нее в глазах, дети, они хоть и мамины, а живут уже по своему разуму, и матерям за их новой жизнью не угнаться. Так в старину было, так и сейчас. Поглядишь и не веришь: то ли время бежит от тебя, то ли дети забыли нашу жизнь.

На бабушку Женя глядел зачарованно. Для него в древнем человеке, как и в старинных годах его родины, скрывалась какая-то особенность, которая в его поколении не повторится. Он понял это позднее. Добрые молебные бабушки сказывали перед сном детям непонятные и оттого удивлявшие душу истории. «На Сианской горе, на Препитанской земле, там стояло древо купоросное, под тем древом матери божия почивала. Пришел сын Иисус Христос: «Мати моя, ты спиши или так лежишь?» Она: «Я немного, сынку, спала, а много во сне дива видала: не иначе ты на кресте разопытый. Терновый венец тебе на го-

лову надевали, копьями ребра прибивали. Как хлынула кровь тремя реками, ангелы с небес слетали, золотые чаши подставляли, восточной крови до земли не допускали».

Все на свете заведено не нами, успокаивала бабушка своих детей, значит, угодно было богу, коли мать Жени ушла с отцом не послушавшись, значит, предписана была и война, убившая отца, и матери его суждено было пережить мужа с другим человеком. Отца убили, и с матерью что-то случилось. Не становился Женя уже на коленки, не шептал «отче наш», чувствовал даже чудное освобождение, когда перед сном достаточно помыть ноги и сразу брыкнуться в постель под одеяло, думать о чем угодно. Только временами бывало пусто и грустно без сказки-молитвы, которой выучила его бабушка. Не в словах было дело, как понял Женя потом. Поражало бабушкино сострадание и тайна милосердия, которой она жила. Музыка бабушкиной речи запомнилась ему навсегда.

— Темные люди старики,— скажет ей маленький Женя, подталкиваемый чужой учительской волей.— Книг не читали.

— Темные, да порядок блюли.

Казалось, бабушка жила еще до татар и всегда была старенькой. Казалось, она прожила целые века, да так и не заметила, что все в жизни меняется. Ей хотелось, чтобы все на свете было вечно и недвижимо — как звезды, небо и сама земля.

— Ну, а скажи мне,— спросила она как-то Женю,— у тебя на сердце не бывает такого, что бог есть?

— Не помню,— честно и виновато сказал Женя.— Кажется, нет.

— Э-эх, дурно-ой, дурной,— сокрушилась бабушка.— Как ты сам себя ни ведешь, а сочувствие богу должно быть. Бог дает терпение, толкает на добро.

«Ой, бабушка,— хотел потом ответить бабушке Женя,— надоело мне ваше русское терпение. Всех бы вы гадов простили. Сколько можно».

— Терпению конец бывает,— сказал он.

— Так суждено нам. От плохой жизни и плохого человека к богу иди. Сейчас народ страшный стал: не то что бога, и людей не признают. Чтоб у меня было, а у тебя не было — вот так живут. Чтоб в сундуке было, к себе землю гребем, все равно, говорят, на том свете ничего нет, да нет, лучше отдать: сегодня разговариваешь, живешь, а завтра тебя не станет. Нет, только добро надо делать, с душой добро нести. Пусть люди пьянятся, насиличают, обманывают, а ты добро делай! Я век прожила и никого на волосок не обидела. Меня обижали, но я им прощаю, они грешники.

— Ну вот видишь, бабушка: опять прощаешь. Да только ли хороших?

— А ты послушай меня: вернешься в институт — и ребятам про свою бабушку расскажи.

— Не плачь, бабушка, я все запоминаю хорошее. Не плачь. Давай я тебя поцелую, не плачь. Смотри, внуки у тебя какие, разве мы дадим тебя в обиду? Ну что поделаешь, если старое прошло и не воротится. Будем жить дальше, будем стараться. Правда? Ну вот.

— Мне себя не жалко, мне вас жалко. Мы-то, слава богу, немножко да захватили, а вы уже того не увидите. Сейчас ни старого, ни пожилого дети не ценят.

Это был год прощания с чистой, какой-то бестелесной бабушкой. Каждый раз, приезжая, она думала, что видит его последний раз.

С приездом ее моментально появлялись в доме старенькие ее подруги с костыльками, в длинных и широких юбках с цветами по темно-

му, в платках, которые они снимали в избе, расчесывая большими гребенками редкие прямые волосы. Первой приходила баба Шама. Шла она с самого конца улицы, отдыхала в двух-трех дворах, успевая пожаловаться на свою сноху, и добиралась на другой край только часа через три. С крыльца еще был слышен ее ворчливый басовитый голос, и, входя, она продолжала разговор сама с собой:

— Бешовы дети, так-перетак, веничка у них нету, рубля жалеют веник купить, задавята за рубль, как шноха моя, тоже, паразитка, скучится. Ох, давай, подруженька, поздоровкаемся.— Она обнималась с бабушкой и троекратно целовалась.— Будь ты неладна. Чего рты пораскрывали, хихиканьки развели?

Тут она развязывалась, чесала волосы и, положив на колени поношенный шерстяной платок, повязывалась белым, тонким, в горошинку.

Затем стучала в окошко высокая Секлетинья. Из одной деревни были, как же, в один год отдавали их замуж, из одного колодца воду брали и на глазах друг у друга прошла молодость — теперь видятся редко, зато хорошо встречаться на старости, перебирать новости у теплой печки. В замужестве была Секлетинья свирепа и властна, над хозяином своим куражилась, как хотела. В беззаботности и самовольстве прошла жизнь, и не понимала она бабушкиного вдовства. Но когда самой довелось остаться одной, плакала не переставая: «Ох, Степановна, как плохо без старика, нигде не нравится, никто не подчиняется».

Секлетинья целовалась с бабушкой без слез, садилась, отдувалась:

— Ох, понадевала на себя, а ну как, думаю, замерзну, нацепила старенькое, на смерть не хватит, новое берегу.

— Ладно, бешова душа, а то мы не знаем, сколько у тебя добра, — ругала ее баба Шама.— С сундука не слазишь — боишься, растинут. Стонешь, все тебе мало. Это у тебя от мужика осталось, так ты и хвалишься, я вот не похвалюсь, как у меня старика давно нет и купить не за что. Мы вот со Степановной не похвалимся. Иди за поллитрой, иначе здороваться не буду!

— Ишь ты кака! — заводилась Секлетинья, и со стороны это было смешно, потому что они не ругались, а только делали вид, что ругаются, кричали по старой привычке.

— Ну, ты ездила к сыну, как там тебя встрели? — спрашивала бабушка бабу Шаму.

— Нехай им черт! Ворожейка говорила: у тебя много детей, все рассеяны, ты будешь помирать у старшей дочери. Старшая дочь сама плохо живет, думаю: ну, сын возьмет. Он живет дай бог: домина, баба его вот такая разъелась, как кадушка. Встала, попила молока и не бей лежачего — по-ошла. А я сама себе билет купила, положила при сыне.

— А сын чего ж?

— Ай, и сыну, видно, того хотелось. Промолчал. Баба дороже матери. Когда воспитывала да все кусочки от себя отрывала: «Ешьте, деточки, может, и вы матерь на старости не бросите», а как переженились — и мать на черта сдалась. В кладовке стоят открыто двадцать банок с вареньем, и ни одного раза не напоила чаем, хотя бы не видела, то б не обидно было. Когда разошелся с первой бабой, в чем стоял, в том ушел из дома; приедет на суд — я ему и мяска, и сальца, и картошки, все ж, думаю, не покупать ему, а сейчас он чужой стал. Хоть бы конфетку дал матери; как первую бабу боялся, так и эту. Вот он такой же растет.— Баба Шама показывала на Женю.— Выучится и мать свою погонит.

— Не погоню...

— Погонишь, бешов сын, куда ты от этого денешься? Возьмешь

кralю, такая привяжется, а матери твоей дашь на поезд пятерочку: езжай, мать, на все четыре стороны. А нет, скажешь: по-о-шла, такая, вон!

— Я свою мамку не брошу.

— И мои так говорили.

— Я никогда не женюсь! — кричал Женя.

— О-о! — поднимала руки бабушка. — Куда денешься? Сиди.

— Мы ее, сучку с крашеными губами, и на порог не пустим, — вмешивался в разговор плескавшийся после работы под умывальником Никита Иванович.

— Этот не бросит мать, — вдруг говорила баба Шама. — Оно смолоду видно. Правда, Секлета?

Жаль было бабу Шаму. И Физа Антоновна частенько звала ее к себе, оставляла ночевать. Невестка ее тоже не во всем была виновата: еле-еле сводила концы с концами, она тоже измучилась.

Да и чем помочь чужому горю? Женя не знал. Что он мог?

Умерла баба Шама в полном несчастье, и хоронили ее в тот день, когда Женя сдавал письменный экзамен по литературе на аттестат зрелости. Перед смертью она никого не узнавала. «А ты чего со мной разговариваешь? Ты чья? В церкву сходи помолись. Тебе со мной грех разговаривать — я святая уже». На похороны прибыла бабушка, ночь сидела у гроба подруги с Секлетиньей и вспоминала жизнь.

— Как кончиши, — попросила мать, — то прибегай, сынок, пострайся, оно хорошо, когда люди есть...

Женя кликнул Витьку Зубарева, тот появился, несмотря на жару, в пиджаке, внутренние карманы которого были полны заранее написанных сочинений, и они шли и говорили, что обязательно предложат тему из Маяковского и Фадеева и еще что-нибудь про будущее.

— А вдруг, — сказал Витька, — достанется про социалистический реализм? Определение знаешь? Или новое спределение типического?

— Запросто, — сказал Женя возле поворота на базар, где он последний раз встретил бабу Шаму и она его не узнала. — У меня цитаты выписаны. К любой теме подойдут. Типическое не то, что массово, а то, что выражает сущность данной социальной силы...

Он написал сочинение раньше всех, проверил два раза и побежал на свою улицу. Снизу уже медленно взбиралась телега с гробом бабы Шамы, несли свежий крест, крышку на полотенцах, и бабушка Женина сидела сбоку подруги, поправляя после толчков ее голову, наверно, говорила с ней мысленно.

Женя пошел вслед за всеми, порою оглядываясь и наблюдая, как отстают и расходятся по дворам женщины и дети, не пожелав проводить старуху до кладбища.

195 ... г.

Как я тебя ждала домой — и вдруг получаю письмо «не приеду», прочитала, наплакалась, что не скоро увижу тебя, так напрасно ожидала. Не иначе прогулял где или чего такого купил, что денег нет и не хочешь признаться матери. Все же меня сомнение берет: ежели провел без дела, то, конечно, ты вольный парень, но ты должен посочувствовать, как твоя мама ногти заламует и трудится, все старается, чтоб люди не смеялись. Опять вот пальто тебе на зиму надо. Куда же мать дется, помогу пальто купить, хотела себе хоть какое-нибудь справить, а теперь тебе вышлю, как-нибудь перебьюсь. За товарищами гонишься, у товарищей, может, родители богатые, а ты за ними тянешься, у тे-

бя мать одна, бьется как рыба об лед... Как прочитала письмо — и оно меня возмутило. Не стал ли ты за девушками ухлястывать, день и ночь пропадать с ними? Наверно, придет та пора, что ты напишешь: мама, я женился. Это-то неплохо найти предел своей жизни, ну, Женя, я тебе не советую, еще рано, еще долго учиться и трудно, когда появится у тебя семья. Такая моя просьба — не вздумай жениться, девушки — они никуда не денутся, хорошая девушка будет тебя ждать, там на последнем курсе видно будет, я тогда не стану против, а сейчас не связывай свою голову, не бери на себя такую заботу. Я, Женя, в своей жизни все испытала, как тебе известно, не торопись, успеешь этого добра узнать, не обижайся, что подарок не купила ко дню рождения, так все с деньгами внатяжку. Как не поедешь в лагерь, то езжай домой, я так соскучилась, а поедешь, хоть отдохнешь да на людей посмотришь, может, чего и на себя заработкаешь. А то я устала от забот. Купи себе рубаху, старые рубахи никуда не девай, привезешь мне, я с них нашью ковров под ноги.

Были у меня твои ребята, читали твои письма, угостила их хорошо. Было б все тихо, пройдет год — увидимся. Так наскучалась, что и не могу передать, надоело без родных жить. Толик прислал письмо, в армию взяли, передает тебе привет, где-то на Кавказе служит. Больше новостей никаких, никто не помер, не женился. Второй том Паустовского еще не пришел.

Кладу 5 рублей...

Глава пятая

Сколько ни пытался Женя вести дневник, ничего не получалось. Учительница советовала купить тетрадку и прилежно записывать все хорошее, что было вокруг.

А что записывать? Встал, позавтракал, побежал в школу. В школе те же ребята, дома — те же лица. Удивительных историй с завязкой и развязкой не совершалось. Бегали, дрались сумками. писали изложения, недавно юношь караулили с Толиком очередь за жмыхом для коровы. Ну и что? А еще пацаны с Горской бегали допоздна зимой с клюшками, весной таскали за пазухой голубей, играли «в чику», в пристенок на мельочь и помогали мамкам колоть дрова, поливать огород. В этом ничего необыкновенного нет, а вот люди пишут про интересные случаи — где они?

Было как бы две жизни: одна где-то там, с красивыми чистыми людьми, другая — дома, на улице, на площадях и в магазинах.

«...дак он в фуражечке ходил да в ботиночках, где лужа, грязь, он, чтобы не замазаться, остановится, обойдет, подумает. А э-этот в сапоги обутый, ломит напрямую, не разбирая, лишь бы скорей! Только брызги во все стороны. Великий! Великий, когда он стоит, а люди сидят. А как люди встанут, его и не видно». Кажется, сказал Демьянович. О ком?

Вот взять Никиту Ивановича, попробуй его записать, да он такого за день намелет, что не разберешь.

— Ну что? Бил уток?

— Ох, ели... И били. Идешь — лед тресь, тресь. Одно утро чирок шел, мороженый чирок причем.— Никита Иванович облизывался от вранья и раскладывал карту области.

— По карте охотились?

— А как же! Вот здесь мы были. Тах, тах! Целый тамбур привезли. Не веришь? Слушай... Эх, как ударишь и...

В тот день Никита Иванович вернулся с охоты. Уезжал он километров за двести на целую неделю. Сманили его товарищи, отпуск ему не намечался, и он взял без содержания. За стаканом он как-то похвастал-

ся товарищам, что заработал нынче много и неплохо бы отдохнуть за свой счет, жена от благодарности посыпает в Сочи, но зачем эта жаренка, лучше мешок уток привезти. На самом же деле Физа Антоновна не пускала его, жаловалась на нехватку денег — поедет, последние промотает, тогда как лучше бы пустить их в дело: обувку купить, толя на крышу, да и куда ж ехать, когда крыша проходила.

— Старенька! — обнимал жену Никита Иванович. — Все ты жалуешься, хнычешь! Чего нам не хватает? Птичьего молока? Я прошлый месец тыщу двести принес.

— Ка-аких тыщу двести? — так и села Физа Антоновна. — Двести рублей Ложкину отдал, должен был. Пятьдесят, говоришь, с завгаром пропили, для дела ли, без дела, ну, это ладно, допустим, начальство угостил, может, машину на покос даст. Да на охоту с собой триста взял... и сегодня две пол-литры... за третьей посылаешь...

— Не будь скупердяйкой, как Утильщица. Сегодня есть — и ладно. Всю жизнь трясемся над рублем, надоело. Без дела не пью.

— Дела-то и не видно.

— Ехор-малахай! — Никита Иванович вздевал руки вверх. — Роденька, у меня душа, как у Есенина, а он, между прочим, тоже любил заложить!

— Ой-ой, не мели, не мели ради бога.

— Ну, чего ты? Ну, хошь — рыбкой расстелюсь? Стихотворение прочитаю? Пушкина... — Он театрально становился на колени. — Хошь, под Козловского спою?

Физа Антоновна слабовольно улыбнулась и взялась чистить картошку. Долго перечить она не могла. Она уже знала, что раз он завелся, отхлебнул немножко — его не остановишь. Она начистила побольше картошки, потому что непременно кто-нибудь зайдет, так всегда случалось, если Никита Иванович тешил душу. В одиночестве он не любил колдовать над стаканом.

— Старенька, — сказал он, — не в том дело, главное дело, а вот в чем дело, главное дело: сходи за Демьяновой.

— На что она нужна? Это как засядете, еще да еще. Дай-ка сама притащится. То пара она тебе.

— На веселье лучше нету. Заодно поглядит, как Никита Иванович живет.

— То она не знает. Пока выпиваешь — богаче всех.

— Ну, старенька... — прикинулся Никита Иванович. — Тыщу поцелуев...

— Да ну тебя...

Физа Антоновна вытерла руки о фартук, вышла недовольная и через несколько минут вернулась.

— Идет. Я ж говорила. Кричит на всю улицу: «Новое платье купила, как раз к сапогам. Пойду покажусь».

На Демьяновну невозможно было долго сердиться. Как ни обижала она Физу Антоновну за глаза, не поздороваться с ней или прогнать со двора не хватало мужества. Как только эта толстая, с вечным фартуком на животе баба отворяла калитку и, зажимая в руке бутылочку самогонки, начинала с прибаутки, с матерков и притворных жалоб, ей все прощалось, и даже больше того — становилось неловко от недобрых мыслей.

На этот раз Демьяновна появилась в ограде с тарелкой холодных вареников.

— Сваток, — сказала она, — слыхала я, что жена тебя не кормит, так я вареников тебе готовила. Демьянович, правда, ругать будет: последние отдаю, но ты, сваток, не проболтайся ему.

— Или ты не знаешь, как я живу? У меня своей муки два вагона.

— Твоя мука еще в поле растет, а моя на столе. Муки у тебя много, а выпить нечего. А у меня дома целое ведро в подполе припрятано.

Она знала, куда клонит.

— Принести? — хитрила Демьяновна.

— Сиди!

— Мне тебя хочется угостить. Мне для тебя копейки не жалко.

Последнюю рубашку сниму, голой по Широкой пройдусь.

— Да ну тебя к черту! Ты уже дряблая.

— Я, сваток, коленками любого залягаю.

Она взяла у Физы бидончик и пошла будто к себе, и едва скрывшись, повернула к соседке, выпросила две кружки самогона, опять сорвав, что дома в погребе стоит целое ведро, но туда не пробраться, пока муж на работе.

— Ну, сваток,— она вошла, задыхаясь,— еле из погреба вылезла.— Бродит мое вино, сахару придется подсыпать. Наливай, раз своего нет,— сказала она с укором и высыпкалась в фартук. Но, как и предполагала, Никита Иванович полез в сени и стукнул на стол поллитровочку «московской».

— Лицом в грязь не ударим,— сказал он, подтягивая штаны.— Живем пока хорошо. С охоты уток привез — на всю зиму.

— Ты б мне хоть одну дал, сваток.

— Да он брешет,— сказала Физа.

— Принеси буревестника!

Физа отказалась, и Никита Иванович встал, ушел в сени, принес худенькую, несчастную птицу.

— Я куропатку одну убил на разъезде,— сказал он, вернувшись,— отдал варить. Баба одна варила.

— Как эта баба была — ничего? Вари-ить умела?

— Только уговор — без политических намеков! Старенька, садись с нами.

— Да я не хочу.

Женя и Толик были в школе. Женя записался в художественный кружок и просил сегодня денег на масляные краски и бумагу, и Физа Антоновна ему не дала, сказала, что рисовать можно и карандашом, тем более что все равно он художником не будет, а переводить деньги на это удовольствие им нельзя. Он заплакал, сложил в портфель карандашики и альбом, сказал, что он и так хуже всех: летом не ездит в лагерь, корову эту пасет по вечерам, зимой нету ему коньков, и тогда Физа пообещала, что на следующий год, дай бог, станет корова давать побольше, она сэкономит ему на краски, хотя у нее у самой еще пальто нет. Всем дай, всем надо. Толик ходит в авиамодельный, тоже просит на клей, на курильную бумагу для крыльев, а отец помешался на охоте. Как раз бы то, что пропил, и пошло ребятам на пользу. Так нет.

— Эх,— затянула Демьяновна,— не за тем пришла, не гулять пришла, пришла пробовать вино — не прокисло ли оно? Я с выторгов. Два щедра капусты продала.

— Ну и трепушка.

— Заяц трепаться не любит.

— Вообще-то косой не треплется. Изредка.

— Изредка и надо пульнуть. Правды сейчас что-то много стало, кому-то же надо и солгать.

— Ты умная баба. Почти как я.

— У тебя не голова, а Дом Советов. Тебе бы там сидеть, может, и нам бы обломилось. Глядишь, и угля бы скорей выписали.

— У меня задница тонкая. «Я достаю из широких штанов...» — встал он и заорал Маяковского, стихи которого читали им в перерывах между боями московские артисты. — Нас туда допускать нельзя, мы с тобой люди простые, сегодня есть, и ладно, про завтра не спрашивай. А что нам там делать, мы и так все знаем.

— Правильно, сваток. Не смотри, что мы малограмотные.

— Вообще-то ты баба та ли еще. На месте мужика я б тебя порол каждый день.

— У меня мужик немой. Придет — молчит, ляжет — молчит, где выпью — тоже молчит. На тарном заводе, говорят, тоже молчит. Обсчитывают его, в выходной день вызывают, со смены на смену переводят, нагрузки на него — молчи-ит! Вот, говорю, меня там нет, я б, едрил твою, за чубы потаскала. А что толку, говорит? Их не переспоришь.

— Он у тебя мудрый! Вы, бабы, ничего не понимаете.

— Я правду люблю.

— От тебя тоже правды не дождешься.

Правду Демьяновна любила наводить только на других, если можно назвать правдой те побасенки, на которые она была великая выдумщица.

«Вот баба! — восклицали соседи. — Ну, она придет ко мне — я ее проучу!»

А Демьяновна не лезла под горячую руку, выдерживала срок, положенный для успокоения, и кричала под воротами: «Можно?» — как добрая мать.

Ничто на нее не действовало, она запутала и переврали свою жизнь в болтовне за стаканом, и уколоть ее было невозможно.

Демьянович по молодости пытался ее бросить.

— Никуда не делся! — хвалилась она Физе. — Я его приворожила. Как в отпуск поедет, я печку открою, зажгу бумагу и кричу в дыру: «Раб Демьянович, вернись к рабе Демьяновне». Через неделю заявляется: «Соскучился! Ну его к черту, этот дом отдыха». По первости вздумали расходиться, пошли в суд, а я забежала наперед, через порог веток набросала да дома заранее еще в ботинок ему иголку швейную вложила. Только входить судиться, а он и раздумал. Мужик у меня — золото. Он царь, а я правлю.

Однако перед людьми она постоянно показывала, что якобы боится его и считается с ним.

— Стаканчики, рюмочки доведут до сумочки, — сказала Демьяновна. — Я по-своему: сама сочиняю, сама пою. На той неделе на могилках была. Ни один покойник не встал. Я поглядела: и по хорошему плачут, и по плохому плачут. Да лучше пить с горя. Поверишь, сваток, ненавижу, когда плачут.

— По кому тебе плакать? — сказала Физа. — Мужик целехонький, сама здорова.

— Я по жизни плачу. Мне и тебя жалко, и его, и Утильщиков. Они вон деньги получат — идут под ручку, деньги кончатся — спать повозь. Я им свои отдаю, лишь бы спали вместе. Я для тебя, для Физы ничего не пожалею. Ты спроси у нее, как мы дружили. Она мне, я ей. Все общее. Правда, Физа?

— Правда, — как-то робко подтвердила Физа.

— В прошлом году сено привезли. «Физа, займи!» Физа от себя оторвет, а мне уделит. Мы как сестры. А я, сваток, за тебя ее отдала, к ней много сваталось, инженера, один патефонами торговал, у него каждый день выручка, не то что ты, в одном пиджачке перешел. А я баба с умом, не смотри, что в грязном фартуке. Я говорю: «Физа! Гляди не пропусти!»

— Хватит тебе. Ну что молоть про то, что было?

Никита Иванович нахмурился, Физе тоже было не по себе от того, что Демьяновна так бесцеремонно вмешивалась в их жизнь.

— Я ее как первый раз увидела — она мне понравилась. А мой глаз не ошибается. Ну, думаю, теперь у меня есть подружка на худой день. Она не обидит. Дай ей бог счастья. Ты ее, сваток, так не любишь, как покойный мужик любил.

— Что было, то прошло. А раз мы сошлись, то будем жить. Нечего...

— Надежда на тебя, Никита Иванович. Будешь обижать — я первая про тебя в «Крокодил» напишу. Хе-хе. «Ох, милка моя, шевелилка моя!» — запела Демьяновна и мгновенно переменилась, как будто ничего и не было.

— Во! — сказал Никита Иванович. — Утятинку пробуй.

— Я уже.

— Демьяновна!

— По отцу Захаровна. По свекру Демьяновна, по отцу Захаровна.

— Если бы не мой бы Алексей, Кипина Дунька замуж не вышла. Так мой дед приговаривал.

— У меня ни отца, ни матери не было. Я сама вылупилась. Потому и не подсказал никто, как детей делать. С чего начинать, когда свет тухнет. Хе-хе. Похоронить нас с Демьянычем некому будет.

— Я пару лопаток кину на твою могилу.

— «На мою на моги-илу-у... Знать, никто не-е-е при-идет...»

— А жизнь проходит, — сказал Никита Иванович, — как с белых яблонь дым. Сорок пять уже! Что нам со старушкой надо? — Он обнял Физу. — Детей выкормим, выучим, переженим — только за всякую сучку ни-ни.

— Сучка и попадется. Ты, сваток, плохо знаешь баб. Плохой бабе хорошего парня обкрутить ничего не стоит. Надо подход знать. Хорошие люди всегда страдают.

— Как послушаешь вас, — смутилась Физа, — мелете черт-те что. У людей работа, а у вас каждый день праздник.

— Старенька! Послезавтра отпуск кончается, пойдем вкалывать. Работать так работать, гулять так гулять.

— Кончай, у меня дела много.

— Мы ко мне пойдем, — сказала Демьяновна. — У меня дома заварено.

— Да мне не жалко, сидите, для вас же оставила, — тут же перебила Физа, боясь, что получится скандал.

Она по крошкам собирала свою семейную жизнь. Каждый шаг ее был обдуман, многому она научилась в одиночестве, много страха набралась и теперь готова была иной раз перетерпеть, перемолчать даже в минуты, когда хотелось поругаться. Она верила, что человек со временем сам все поймет, надо только подавать пример в хорошем.

— А ты уже рассерчала? — оборачивался к ней Никита Иванович, ловил рукой ее за бок и прижимал, громко целовал в щеку, подражая молодым. — Дверь не прибита второй месяц. Да разве это время, мы по семьдесят лет будем жить. В этот год не прибьем — перенесем по плану на следующий. Мелочишка, два гвоздя вгоню — и ладно. Завтра прибью. А ты уже и рассерчала. Да мы, будь-будь, уж живем так живем... Не пускаем сопли, как некоторые: «Ой, знаешь, Никитушка, так худо, так худо, болею, болею, сам тоже болеет, хотели стайку перекрыть, рука не поднимается, отняло». А мешки таскать — рука ничего. По пять-шесть мешков картошки продают в день. Нема делов! Мы не такие! У нас всего много, любой заходи, все бери, жри и уноси, еще и нам достанется! Хлеба надо? У меня только кусочек, ну подумаешь, мелочишка, я без хлеба

поем --- на, бери да помни Никиту Ивановича! Лопату надо снег откидать --- на! Ковер персидский на свадьбу — на, только не обсполивь.

— А ковер-то твой где?

— В магазине.— Никита Иванович сощурил глаза и лизнул языком по губам.— Дети у нас — орлы! Женя отличник, в самодеятельности занимается, рисует, давече меня сонного изобразил. Лежу, как король, и ноги волосатые. Уток вижу во сне — тах-тах! Что хорошо, Демьяновна, то хорошо. Хоть и не родной он мне, а могу гордиться: сын во, любая Алена подходит. Толик мой не скажу что отличник, но, слава богу, на троеках, а переходит. Шалопай, немножко в отца. Зато на гитаре играет! Куда твой Иванов-Крамской. «В одном прекрасном месте, на берегу реки» — в два голоса, на что твоя опера. Баян хочу купить, денег достану. Если вижу стремление, ничего не пожалею! На! Учись! Пока я живой, здоровый, не курю, не выпиваю,— сам засмеялся,— учись, сколько влезет. Рыбкой растянуся! Полечу, как утка. Денег кому взаймы дать? На, у меня тут бренчит мелочишко. Голым не останусь. Богатый... куда с добром.

— Правильно, сваток. Деньги — прах. Деньги — как пух. У моего мужика знаешь сколько денег? Пятьдесят миллионов. Незаработанных! Лес его. Заводы его. Коровы народные, а мы кто? Народ или нет?

— Масса,— сказал Никита Иванович, таская ложкой кисель.

— В любое время пошел заплатил — и твое. Верно? А что рубль? Человек больше стоит. Давай, сваток, чокнемся.

— Нет, я этого не понимаю,— сказал Никита Иванович, не слушая Демьяновну.— Я не люблю жить, как некоторые. Смотришь, мужик был как мужик, вместе в баню ходили, пивко дули, вечером поел — на лавочке отдохнул, а то в кинцо проветрился. Да решил дом строить. Давай, значит, денежки копить с получки. А с получки не скоро нахватаешься. Стали отказывать себе во всем. Парников наделал, весной высаживает рассаду, там поливка, там базар, сюда-туда, уже не до кино и ни до чего. Полторы смены тянет. Да начальству надо угодить; раньше повернулся да пошел — теперь подлизнуть надо, не до товарищей, лишь бы себе.

— А что ж людям делать тогда, если по-твоему? — сказала Физа Антоновна.— Домов не строить, как же иначе? Выпивать?

— Дело хозяйственное. Водки навалом. В магазинах того нет, другого нет, а водка всегда. Не выбывает. На Кавказе вино едят и вином запивают. И живут дольше ста лет. Поедем, старенька, на Север, дом продадим, куплю тебе унты. Карлы-бурлы, как чукча. Как фамилье? Вербованный! На три года. Я не люблю, чтоб начальство с меня требовало. Чтоб я с них требовал!

— Одни слова,— сказала Физа Антоновна и вышла встречать корову.

Когда она вернулась в дом, Демьяновна начала прощаться:

— Пошла я. Пошла, пошла. Спасибо вашему дому, пойду к другому. Я очень довольна, как день прошел. Незаметно. Завтра приходите ко мне. А на троицу — обязательно! Физа, ты меня знаешь, хоть серчай, хоть нет, а я к тебе с дорогой душой. «Ох, не за тем пришла, не гулять пришла»,— запела она, вывалилась на крыльце, покатилась на толстых ногах за ворота, потом мимо своего дома.

— Вот так и день прошел,— сказала Физа Антоновна.

— Другой будет. Мне послезавтра на работу.

— Ложись отдохай.

Он прикрыл глаза и уснул. И, как часто бывало, скромно появился на пороге Демьянович, искавший свою жену по дворам. Физа Антоновна с сочувствием поднесла ему стул. Демьянович был мужик крупный, достойный на вид, и его покорность, мягкость в семье удивляли соседей.

Над другим бы посмеялись, но его как-то еще более уважали за одиночное молчание.

Посидев, посудив кое о каких делах, он встал и как бы между прочим, словно не за тем приходил, спросил:

— А моей у вас не было? Почему-то дом на замке.

— Да, наверно, отлучилась куда-нибудь,—вежливо, с непониманием ответила Физа Антоновна.—Была у нас, посидела, говорит: надо идти готовить. Наверно, где-нибудь здесь. Ты спроси у Моти.—Она посыпала его в другой дом, чтобы он не наткнулся на свою жену, которая где-то болтала и без конца вспоминала о муже:

— Набывает он меня еще. Набывает, как Физу Никита Иванович недавно бил.—Она нарочно говорила.—С синяками ходила, говорит: упала. Ну, это он поднес. Детей свели, никак не ладят. Кому охота за чужим смотреть? Приехал с охоты, она ему и на чекушку не дала. Я полезла к себе в погреб, принесла бидончик — нате, раз вам жалко.

А Физа Антоновна искала ее.

— Иди, Демьянович пришел. Иди, он заболел.—Она придумала это нарочно.—Не все б тебе прохладиться. Мужика тоже надо жалеть.

— Физа! Подружка моя! Я тебя в обиду не дам. А ты иди первой, скажи, что я чижелая, была у маменьки на могилке, разнервничалась и ты меня угостила. Я одна боюсь идти. Сама знаешь, меня везде зовут, без меня скучно. А Демьянович этого не любит. Он заснет, и я приду.

«Везет же людям,—думала Физа Антоновна.—Им все с рук сходит. А ты стараешься, не знаешь, как лучше угодить».

Когда она вернулась, ребята готовили уроки. Женя иногда посматривал в окно и обдумывал, с какого места он будет завтра рисовать чужие заборы с тополями в палисаднике. Дневник пустовал.

Толик сопел над составлением плана «Тараса Бульбы». На еще пустой, но уже запачканной пальцами странице он смог написать только две строчки:

«А) положительные черты Тараса.

б) стрицательные черты Тараса».

Составление плана всегда было для него казнью.

— Женя, а какие у Тараса Бульбы отрицательные черты?

— Не знаю.

Старый Тарас им до того нравился, что они не замечали в нем ничего плохого.

Ноябрь 196 ... г.

Во первых строках своего письма сообщаю тебе, что я жива и здорова, того и тебе желаю. Живу, как тебе известно, знаешь мою одинокую жизнь, не сильно-то улыбнешься. Правда, ходят соседи, побудут — и ушли, а я опять сама, почти каждый вечер сижу одна-одинешенька, квартиранты то на работе, то дружить уйдут. Скука меня заедает, ну ничего не поделаешь, видно, моя судьба такая — одной мотаться: куда уйду — меня никто не задерживает, и приду домой — никто не ждет. Здоровье пока хорсшее, не обижуюсь, аппетит хороший, только плохо, что от родных далеко, так скучно по всех, особенно по тебе, пишу письма во все концы, получаю от всех, чтоб мне веселей. По радио песню исполняют, грустно так слушать, как же не грустно, доведись каждому такая судьба — тоже заплачешь. Оно вон посмотришь на других, как воскресенье — выйдут мужья с женами на базар или в кино, любовь да совет, а я куда ни кинусь — кругом одна, утром и вечером, обсуждаю с собой,

как дальше выкручиваться... Одна, сынок, надежда на тебя, что выучишься и станешь человеком и не забудешь свою маму. Страйся, чтоб люди тебя любили, не подражай бессовестным, их сейчас много поразвевлось, будь правдивым, как все в нашей породе: за копейку не удушатся, свое еще отдалут, хоть без копейки, сам знаешь, никуда.

Я, кажется, тебе писала, что я корову опять оставила, никак не расхлебаюсь с ней, уже и выгоды нет, ну помучусь еще год, потом все равно развязусь, она мне уже все руки оборвала...

Сена купила машину за 1500 рублей, ну машина небольшая, немного не хватило, за помидоры выручила 100 рублей, огурцы плохие нонче, помидоры тоже неважные уродились. На будущий год, жива буду, посажу побольше, не стану разной дребедени садить. Кartoшки накопала 15 кулей, выбирали коллективно — ребята, как раз были выходные, спасибо, помогли, выбрали и сразу привезли. Все налоги поплатила, а долга еще на будущий год осталось 1500 рублей. Теперь с нового года, как корова отелится, тогда только помаленьку расплатимся. Бабушка обещала тебе выслать денег к празднику. Не вздумай так погулять, как гулял нонче в мае, а потом объявлять себе великий пост. Не шикуй, не смотри на тех товарищей, у которых родители богатые, нам не с чего взять, корову оставила, та уже покаялась, мало молока дает... У товарищей твоих шаг широкий.

Поздравляю тебя с великим праздником Октября, передают тебе привет все соседи. От меня передай своим друзьям и подругам праздничный привет.

Кладу 10 рублей...

Глава шестая

Впервые Женя горько сознательно плакал в шестом классе весною, когда погибла собака Розка.

Наступил май, покопали огороды, распушили грядки, вечерами, в свете красного заката, на западе обкладывали назьмом лунки для огурцов. Физа Антоновна работала сама, Толик с отцом рыл под погреб яму, Женя прибирал в кладовке, лазил на чердак, еще сырой и душно пахнувший опилками и старыми тряпками. С крыши во все стороны расстился перед глазами район с кривоцековскими болотцами по низине, поближе к железной дороге, с пекарней за высоким забором, мимо которого Женя боялся идти в войну, ежеминутно ожидая, что в какую-нибудь дырку нырнет сейчас сорвавшаяся с цепи на длинной проволоке собака и схватит за штаны. Пекарня тогда строго охранялась, берегли хлеб, и кто-то же все равно пробовал выносить к забору и передавать буханки, кто-то травил собак, кидая им куски хлеба с вколовыми туда швейными иглами.

Теперь двор пекарни буйно порос травой, и как-то бедно и тихо стало у ее ограды, да и все изменилось, как взглянешь с высоты, и на болоте, где жила тогда тетя Паша, Параксовья Григоровна. Там, где понижалась Широкая, на самой ее середине, пролегал от хлебного магазина на горке до станции деревянный длинный мостик, по досточки затопляемый весною водой, весь кривой, шаткий. По этому мостику-тропинке с семи и до девяти утра шла такая густая тьма рабочих, что при виде ее становилось легче жить. Другая дорога вниз на заводы вела сбоку от их дома и сходилась с мостиком на Болотной улице, как раз у пекарни. Женя любил смотреть отсюда, как движутся вереницы людей. Подобно клубам дыма, эта черная живая струя, редевшая возле дома, откуда-то рождалась внезапно, и этой струе не видно было конца. Шагов за двести Женя различал соседей и тех, кого он уже запомнил по одежде и походке, знал, в какое время они идут и куда повернут, и знал даже, кг

ходит парочками, кто с сумочкой, с завернутой в газету буханкой, кто не спешит, кто торопится в баню, на футбол. С тех пор на всю жизнь в нем хранилось радостное сочувствие к тем, кто бежит на работу в общей толпе.

С крыши он также наблюдал за движением поездов и пригородных передач. Казалось, никогда ему никуда не поехать, не сидеть в этих мягких вагонах с желтыми лампами на столиках, не выглядывать на торговок из окошка.

Когда жили они вдвоем с матерью, много дней просидел Женя во дворе и на крыше. Если мать выезжала на картошку или косить сено, караулил дом; мальчишки бегали купаться на Обь, а ему нельзя было бросать свой двор — в сарайчике подрастали цыпушки, за ними нужен был глаз. Порою мать уезжала в центр, за Обь, по каким-то редким делам, и Женя сидел на крыше, считал вагоны. Поезд появлялся из-за поворота, и Женя гадал, в каком вагоне находится его мать, искал ее после остановки в толпе: сначала в числе первых, потом в запоздавших, потом в числе последних. Ее не было и не было. Вон показалась голова в ее платке, конечно, это она, и рукой машет, и в сумке несет что-то для него, но ошибался — это была не она, не мама, а чужая тетенька. Темнело, ревели по улице коровы, цыпушки пищали и просили пшена, реже тянулись поездам, и где же она, мама? Не попала ли под трамвай, не обворовали? Не пырнули ли ножом какой хулиган? А что, если она и правда не вернется, с кем же тогда останется Женя на свете? Ну, придут соседи, пожалеют, подоят корову, закроют ее и постерегут дом. Встанет он утром без матери, никто не скажет ему картошки, некому будет прийти на собрание в школу. Приедет бабушка, заберет его к себе, но как же он забудет свое место, свое болото, свои вечера вместе с ней, как же привыкать жить без нее не только первое время, но уже и всегда, вечно, в другие, взрослые дни, как же не порадуется она, ничего не узнает, что случилось с ее сыном в дальнейшем, и там, под землей, ей будет вдвойне обидно за него, маленького Женя, такого несчастного.

— Же-еня! — вдруг раздавался во дворе ее голос. — Где ты? Женя! Где ты, сынок? Заждался, сыночек, а я тоже так торопилась, так наплакалась, сыночек, сегодня. Корову подоили без меня? Кто доил, тетя Мотя?

— Наверно. Я не видел. Я на крыше сидел.

Он брал на руки Розку и спускался на землю.

К Розке он привык, как к человеку. Она провожала его в школу, до самого базара бежала вслед и хватала за краешки валенок, как бы задерживала: не хотела, чтобы он бросал ее одну на дороге. Жене было жалко ее, когда она отставала и стояла на дорожке, вся вытянувшись вперед, лая, виляя хвостом, думая, наверно, что он не вернется. Он показывал рукой, мол, до свиданья, и она, глупенькая, снова неслась к нему, прыгала возле него, как мячик, и опять хватала за валенки. В иную пору Розка ждала его во дворе школы, и Женя высаживал на переменах проверить, не издеваются ли над ней ребята. Сколько бы ни держали они в доме собак, все они были подобраны и выхожены из жалости. Едва Физе Антоновна собиралась завести щенка, как откуда-нибудь приставала к их калитке собачонка: то больная, то голодная, кинутая каким-то хозяином.

Люди шли к Физе Антоновне по всякой надобности. «И все к нам, — говорила она. — Как кому что надо, так к нам. К кому ж мы, сынок, пойдем? Только что к тете Моте, она такая же». Глаза, наверно, у нее были такие, и люди чувствовали в них слабость сердца. Не раз она ругала себя за характер, но только в минуты обиды, потом опять же прощала, пускала ночевать побиушек.

Розка терпеть не могла привязи, без конца перегрызала веревки. Она скакала по грядкам, словно желая угодить хозяевам, вытаптывала и обнажала семена. Однажды в первые теплые дни весны она, глупенькая, пробралась на огород к Демьяновне и перепоганила там грядку с луком. Едва Физа Антоновна пришла с базара, Демьяновна явилась с упреками.

А мать не пошла бы жаловаться. Всегда почему-то совесть брала, и за свою же правду она никогда не могла постоять. Пойдешь жаловаться — обидишь человека, что-нибудь не так скажешь или скажешь-то по-нормальному, но не так поймут.

— Подумай-ка! — разорялась Демьяновна. — Рассаду с таким трудом достала, копала, пушила и теперь без луку сидеть буду? Не приду же я осенью к тебе за луком! Мне чужого не надо. Подумай-ка, что получилось. Хоть криком кричи.

— Я ей сейчас дам! — отвечала Физа Антоновна. — Я похожу по ней палкой!

— Подумай-ка, — Демьяновна пошла за ворота, нарочно сообщая встречным, — ни стыда, ни совести...

— Ты будешь у меня по чужим огородам шляться? — Физа Антоновна была Розку ладошкой и приговаривала: — Ты зачем у соседей лук погубила, ты зачем пакостишь? Вот! Вот! — Она тянула ее к забору и указывала пальцем на грядки: — Не ходи туда, не ходи туда, гадина!

Она закрыла Розку в сарайчик, а утром Женя снова ее выпустил. Демьяновна в другой раз вспушила грядку, посеяла лук. В тот день Розка только пробежала по ее огороду. Физа Антоновна куда-то надолго отлучилась. Пришла она отчего-то расстроенная, усталая и не могла чистить картошку на ужин. В это время Демьяновна устроила ей скандал.

Она позорила мать, как хотела, кричала на всю улицу, припоминая, что было и чего не было. У матери, как обычно, от растерянности не нашлось слов. Она молча поймала Розку и повела ее в стайку. Розка не сопротивлялась и, видно, все предчувствовала: в жалостных ее собачьих глазах сверкали слезы. На минуту Физа Антоновна дрогнула, но обида затопила ее сердце. И не о Розке она думала в эту минуту, а о том, что, сколько ни делай людям добра, достаточно одной ошибки, чтобы тебе насолили сполна. «Без тебя у меня мало неприятностей», — сказала Физа Антоновна Розке и подтянула ее к потолку. И когда уже Розка дернулась в последний раз, она сняла ее, помолилась за преступную душу свою и заплакала, как ребенок. Она и на кровати плакала и жалела собачку, жалела своего Женю, который вот-вот примчится с портфельчиком и сразу поймет неладное, жалела и плакала уже о своей жизни.

Женя толкнул дверь в воротах, кинул портфель и спросил у матери:

— Где Розка? Мам! Где моя Розка?

Розка лежала в пряслах, прикрытая сеном.

Он зашел в избу и упал на постель. Он не мог вообразить себе, что Розка не дышит.

— Она вон у Демьяновны опять по грядкам бегала, — оправдывалась Физа Антоновна. — Не плачь, сынок, — и сама утерлась платком, — мы нового щенка достанем. Будем мы еще за собаками плакать — слез не хватит. Не плачь, получше Розки заведем. Она вон меня материла перед всеми, ты и такая, ты и... ты и не работала сроду, и деньги от мужа таила, и рада была, что муж погиб. Ты и патефон, дескать, Женин продала. Куда я его продала, себе на платье, что ли? Или я его пропила, прогуляла? Хотела же не остаться без коровы — вот и продала. Ей бы на мое место.

В эту минуту вошел Никита Иванович. Он нес с получки рыбу и был веселее прежнего.

— Ты чего? — Он увидел, что Физа Антоновна плачет. — А?

Она молчала и оттого, что он спросил, заплакала пуще.

— Письмо от кого, может?

Он сел на стул подле.

— Так что такое, я не пойму? Мать плачет, сын лежит. Что такое? Женя молчал. Все для него были кругом виноваты.

— Ну, давайте я тоже сяду и заплачу: может, нам легче будет? Давайте до утра плакать и не говорить. Долго вас спрашивать?

— А то, что... — начала Физа Антоновна, — ко всем с добром, а...

— Демьяновна, наверно? Я ей... — он выругался, — ноги поотрываю, спички вставлю.

— Сиди! Ты, ради бога, не вмешивайся. Побольше бы звал да выкладывался. Все про тебя знают. Сиди, без тебя. Надо раньше домой приходить — вот это лучше будет.

— Опять двадцать пять. Я в Криводановку ездил.

— Не знаю я, куда ты ездил.

— Вот ты, старенька!

— Какая я старенька. И тридцати пяти нет. С вами состаришься.

Поели да пошли. И душа ни об чем не болит.

— Ну что ты расплакалась?

— А того я расплакалась, — затряслась Физа Антоновна, и Женя тоже спрятал лицо в подушку, дал волю слезам, и опять в детское сердце проникла обида на всех, — того и расплакалась, что...

Она не могла говорить.

— Ехор-малахай! — сказал Никита Иванович. — Ты ее не принимай во внимание. Чешут люди языками, ну и пусть чешут, а ты иди себе, ноль внимания, они и отстанут. Надо гордей быть. Будем мы еще из-за всякого дермы расстраиваться! Завтра воскресенье, я получку принес, пойдем в магазин, куплю чего-нибудь ребятам. Пойдешь, Женя?

— Никуда я не пойду! — буркнул Женя, вскочил и вышел на крыльцо.

Он положил мертвую Розку на тряпочку и понес закапывать в конец огорода. На дно могилки постелил сена, бережно укрыл от земли тряпочкой и засыпал. Потом в набегающих сумерках быстро скользнул за ворота и пошел к большой травяной площади с футбольным полем и сел у камня. Он не придет домой, не придет совсем. Его начнут искать, будут по нему плакать, ну и пускай плачут, ему никого не жалко, потому что, казалось, и его никто не жалеет. Пусть они там живут, ругаются, пусть притворяются, будто им хорошо, и не замечают своего несчастья. А Женя исчезнет навсегда, он вырастет в далеких местах и не вернется ни за что на свете, не поклонится, не покажется, или уж коли покажется, то первым делом напомнит: «А помните, как вы меня обидели?» Или пожалеет из всех только мать, стареньку, убитую разлукой с ним. Прискочит противная Демьяновна: «Ой, как вырос!» — и он не поздоровается с нею, как будто ее и нету. Довольно прощать ей. Пусть знает. Накроют столы, а Демьяновна, как нищенка, будет стоять у порога, едва скрывая обиду и стыд, и такой одинокой-одинокой покажется, что, когда запоют: «Сронила колечко...» — и она высококо, тревожно потянет первым голосом, Женя нальет ей в стаканчик и немножко простит: «На, теть Марусь, да не делай так больше...»

Меж рабочих тропинок и домов белее неба сверкали под густым полотном ночи болотца, в одном месте кто-то кидал в воду камешки, и желтая тень окна чуть заметно покачивалась. Лягушки молчали. За

базаром возвышался четвертый этаж школы, пустой, с потухшими классами, со сценой, с кабинетом завуча.

— Же-е-еня! — звали его, и по голосу он понимал, что мать стояла возле крайнего дома и глядела в ночь. — Же-еня, иди домой! Иди ужинать!

«Вот и пусть,— думал Женя.— Пусть ночь побегают... Поищут. В милицию заявляют».

— Же-еня, сынок! — уже ближе в потемках кричала мать.

— Же-еня! — кричал Толик.— Репортаж передают!

И футбол не купил. У ребят в казенных домах есть и мячи и бутсы, из Москвы привезли. А Женя что ни попросит — на все отказ: погоди, сынок, дай мамке пальто спрятать. Пусть ищут. Он нарочно сидит на прохладной земле, простынет и заболеет. И умрет. Теперь в шестом «Б» придется выбирать нового старосту. Женя умрет назло, чтоб ценили лучше.

— Женя, да куда ж ты пропал? Иди, я тебе что-то скажу. Бабушка приехала, иди!

И когда он умрет, мать совсем не найдет себе места. Кто ей ни повстречается, она перед всяkim заплачет и скажет, какое большое горе случилось в ее доме. После отца вся была надежда на сыночка, такой рос послушный и грамотный, и вот бог за что-то наказывает ее еще раз. Женя заплакал, встал, стряхнул с брюк мелкие камешки и сор и пошел с радостным сознанием, что он жив и здоров, навстречу голосам в темноте:

— Женя, Женя!

Май 196 ... г.

Письмо твое давно получила, но отписать не пришлось, а тут немногого приболела, провалялась неделю, со здоровьем у меня стало хуже, ну сейчас все прошло, береглась, никуда не выходила. Ты просишь, чтоб я почаше писала о себе, по-моему, я ничего не таю, все как есть... Тепла не видно, на огороде ничего не растет. Хожу по очередям и тому подобное, и так день за днем летит, сама все мечтаю, скорей бы заканчивал учиться. У нас ничего не стало по магазинам: ни мяса, ни масла, ни колбасы, и на базаре мясо дорогое, совсем мало, потому что частникам запретили держать скотину, и все бросились по магазинам, потому и недостача... Все в заботе, в работе, так время идет в канители...

Ты спрашиваешь, в чем хожу. Тоже хотела купить хоть немудрящее пальто. Ну, с деньгами скуповато, купила заместо пальта плюшевую жакетку. Не вздумай, сынок, поехать куда, привыкнешь разъезжать, как наш Никита, этот везде побывал с подарками. Ты уж не маленький, тебя учить нечего. Рассчитываю на тебя тут, что ты помнишь нашу жизнь и ведешь себя сознательно. Грех забывать, что нам досталось. Это пускай пузатые забывают, им чо, их дело такое — побыл и нету. Чувствую, приворожил тебя там кто-то, не девушка ли какая нечистая, не считаешь нужным сознаться перед матерью? Я уже все передумала, сны плохие вижу. Еще раз заклинаю тебя, сынок, не поддавайся плохому, как ни можно береги себя в целости, оно в тяжести да в правильном пути все же лучше, чем хвостом трепать.

Хотелось к бабушке съездить, а тут погреб завалился.

Пишу на скору руку, не обижайся.

Кладу 3 рубля...

Глава седьмая

Никите Ивановичу редко сиделось на месте. На картошке едва пропалывали или выкапывали две-три сотки, врезал в землю лопату и шел курить на чужое поле.

— Считай, выкопали. Покурим.

Лень? Наверно, не то слово.

Любил тесное общество, любил, чтобы его звали к себе, и ради гостей, разговора бросал все.

А счастья, видно, хотелось. Зудила порою мысль о первенстве. С войны ехал покорителем, казалось, невысоки теперь золотые горы — рукой подать. А лежали горы развороченной на недостроенных местах земли. И конца краю не было напряжению. И он устал скорее других, дело заменил словами. Слова же вели далеко-далеко. В мечтательном сне дарил детям богатые вещи, возил их по всему свету, гордился собой и жизнью своей. И постепенно привык к этому.

Но у матери-то, Физы Антоновны, не угасала надежда на него: иначе бы зачем жить и топтаться рядом? Покорная надежда была у нее от природы. И как Жене ее, как ей самой в детстве, чудилось, что вот скоро кто-то и поймет их, смилостивится, и одарит, и спасет. Это было похоже на то, как в войну один только бодрый голос по радио укреплял веру, что там где-то есть люди, которые думают и спасают всех.

— Никит, — мягко приставала она, — ну когда уже начнется дело? Тебя сознание когда-нибудь берет?

Как-то зимой пригласили его на свадьбу в родную деревню Верх-Ирмень.

— Старенька! — воспыпал он, сбрасывая с себя в угол грязную одежду. — Повезу тебя в свою деревню, поглядишь, где я сопливым бегал.

— Ты и сейчас носом шмыгала.

— Вообще-то есть маленько. — Он громко сморкнулся в тазик под умывальником.

— Мы ж наладили телка резать.

Теленочка корова принесла два месяца назад. Сперва его спасали от холода в избе, держали между умывальником и обеденным столом, подставляли ему консервную баночку, если он, вздрогнув, поднимал хвост, подтирали после пойки молочные пятна на исчерканном копытцами полу, потом у вели к матери в морозную стайку и долго решали, что же с ним делать дальше: держать на мясо или скорей резать, пока цены на базаре высокие? Женя и Толик обычно уговаривали оставить теленочка. Елва Никита Иванович брал нож и наказывал матери приготовить клеенку, ребята убегали со двора. Они приходили к вечеру, когда уже на сковородах подавали поджаренную кровь, печеньку, почки, и ложились в постель без ужина. Так было каждую зиму.

— Оставим его, — сказал на этот раз Никита Иванович. — Черт с ним. А там посмотрим. Поедем, старушка. Семьдесят пять километров, а последний раз в тридцать шестом году был. Увидишь, как меня встретят. Никиту Ивановича нигде не забыли. В крайнем случае телка после прирежем.

Ради двух-трех дней в деревне Никита Иванович, казалось, готов был и дом продать.

— А я? — сказал Женя. — Я тоже хочу в Верх-Ирмень.

— У-у, я один не останусь, — сказал Толик. — Я тоже поеду.

— Двоек много.

— Чего вы там не видали? — сказала мать. — Свадьба, все напьются, начнут петь, материться, а вы будете слушать! Занимайтесь лучше книжками.

— Ой, — сказал Женя, — и так нигде не бываем. Ладно, ладно.

— Да одевайся, жалко мне! — согласился Никита Иванович. — Одевайся. Толик, покараулишь, тебе аккордеон куплю. Корову соседи подоят. Поехали!

— Три двойки получил, так уже и не берут. Ладно... Как что, так Толик за водой сходи, за хлебом постой, в стайке откидай, а взять с собой — ни разу.

А Жене повезло.

Что и было обидного, давно растаяло в памяти, и если бы детство действительно возвращалось к человеку наяву, в нем бы хотелось прожить еще и затем, чтобы не знать разочарований и не видеть в старших отступников и хитрецов. И все таким же бы чудесно-забавным летел перед ним образ Никиты Ивановича, русского мужика, которому хотелось во всем подражать. С отцом, думал Женя, нигде и никогда не пропадешь, с ним изо дня в день интересно, легко и весело. Как часто Женя вспоминал потом в бедные, растерянные часы жизни его русский обычай презирать неудачи и тяжести, находить утешение в том, что есть, потому что сегодня неважно, а завтра, может быть, и похуже — жизнь есть жизнь! Но точно ли запомнил он Никиту Ивановича? Не забыл ли чего главного и не подкрасил ли за давностью лет?

Приличного костюма на свадьбу у Никиты Ивановича не было. Оделись как могли. Физа Антоновна показала Толику, где что брать, куда сливать молоко, в какое время греть и носить пойло корове, накрыла чистую посуду полотенцем и наконец вышла к ожидающим в кошевке Никите Ивановичу и Жене.

— Стой-ка... — сказал Никита Иванович. — Надо же подарить людям что-то.

— Деньгами положим, сейчас деньгами кладут, какой подарок найдешь в магазине? Кирзовых сапог и тех нету.

— Пускай другие деньгами, а мы в грязь лицом не ударим.

— Никит, у нас ничего нет, ты как маленький.

— Аппарат отдам!

— Да ты что! Ты ж Толику привез, он не твой. Дареное не возвращается.

— Подумаешь, немецкий. Гэ на палочке. Я ему «зоркий» куплю, в сто раз лучше. А что я там с бумажками полезу, хуже других, что ли?

— Ох ты какой богач! Пока спиши да по гостям разъезжаешь, у тебя прямо кошелек гремит.

— Не будем спорить. Какое ваше двадцатое дело до отца — отец хозяин, он сам знает. А вы доверяйте. А кто цыкнет — в рот ему сайку с маслом!

Никогда больше Женя не ездил в кошевке по прибитому сибирскому снегу, не закутывался в тулуп, припасенный в тот раз колхозником, пригнавшим за ними лошадей. Счастье было во всем: в белых чистых просторах, в беге лошадей, в длинном сверкающем дне, в раннем незнании жизни, в том, что люди еще воображались подряд хорошими.

В каком-то ужасно далеком восемнадцатом веке после восстания Пугачева пришли неизвестно по какой дороге на реку Ирмень два мужика и построили потаенную засеку. И пошла жизнь, и взялись откуда-то дельи и праделы Никиты Ивановича и волостной писарь, которому поставили четверть зелья за щедрый надел.

— «Ну, запишите земли», — передавал в санях Никита Иванович давно умолкший разговор, будто сам жил в то время. — «Запишем, чего ж». Вывел в поле: «Вот, бери». — «Да где?» — «А вон, видишь кусты?» Версты полторы. «Да это много, куда мне ее?». — «А как хочешь». — «А туда?» — рукой в другую сторону. «А туда тоже сколько видишь».

Как и в длинные вечера, когда к ним в дом приезжали колхозники, хотелось без конца слушать о чалдонском житье. Одно цеплялось за другое, и чем ближе было до Верх-Ирмени, тем интереснее складывались истории, и пусть бы подальше отстояла деревня, так, чтобы слушать да слушать отца на морозе под снежным небом.

Не понятно, отчего все-таки люди вспоминают старую жизнь?

За пригорком показалась деревня Никиты Ивановича.

— Э-эх! — крикнул он и встал, раскручивая над головой вожжи. — А-эх, с ветерком...

— Сумасшедший! — Физа Антоновна била его рукой по спине. — Повыкидаешь на снег! Никит! Никит, слыши, нет?

Но Никита Иванович не слушал. Он въезжал в родное место и был охвачен молодым чувством, когда хочется погордиться и прихвастнуть. Едва кошевка подкатила к воротам, с крыльца сбежали бабы и мужики, и началось целование, возгласы, что ждут с утра и очень рады: «Да проходите, с полдня начали, ой как хорошо, что вы приехали, и Демьяновна здесь, ну вы совсем молодцы!»

А с крыльца уже ступал баянист, и Демьяновна в тулупе завертелась на снегу в пляске.

В просторной избе с большими заставленными закуской столами сидели чужие люди, похоже было, что гулявшие немножко устали — охрипли от песен, а Никита Иванович, скинув тулуп на койку, где глазели дети, мигом разбудил всех. Так всегда было, сколько помнит Женя. Отца протолкали за стол к окну, Женю пристроили к ребятам, подали вареной картошки с мясом, соленой капусты, киселя, и он ел с дороги жадно, не пропуская мимо ушей ни слова.

— Ладно, за молодых... Много не пьем, по маленькой...

— Кум! Забыл, как тебя звать.

— На «мэ».

— Мой отец, бывало, говорил: у меня три сына, и все на «мэ»: Митрий, Николай и Микита.

— Я гость! Золотой гость причем. Правда, Демьяновна?

— Ты гость только серебряный, а золотой будешь, когда песок посыпляется.

— Ой вы гуси, молодыя! Прилетайте к нам опять! Я был старшина полковой школы. — Отдает честь. — Стой, равняйся! Смирно! Отставить! Смирно! Отставить! Так, бывало, по десять — пятнадцать раз. Потом: штаны спу-устить! Отставить! Не вместе. Буду мучить-учить. Спустить! Левый фланг не частить, правый не брызгать!

— Ты и привресь, с тебя взять нечего.

— Ну, давайте. До дна.

— Как хозяин, так и гость.

— Да оно у вас что-то горчит...

— Горька-а-а!

А к окончанию первого дня свадьбы появились откуда-то ряженые. Тогда Женя впервые увидел мать бесконечно веселой и большой шутницеей. Никита Иванович переоделся, конечно, в бабье, ломался, кривил подкрашенными губами, поднимал пальцами подол юбки, обнажая краевые волосатые ноги, и томно клонился к Демьяновне — она была в замазанных штукатуркой брюках с расстегнутыми пуговицами, в фуражке и с гладкой деревянной толкушкой в руке.

Потом брали Никиту Ивановича за ноги, распинали на полу — поднимали и укладывали на постель, и ряженый в доктора щупал у него в неподложенном месте пульс, ставил под хохот диагноз, просил инструменты для срочной операции. Демьяновна несла полотенце и столовую ложку, связывала руки и ноги и начинала залирать подол.

— Аппендицит! — кричала она. — Вот он, аппендицит, я ж вижу.

— Усыплять будете? — спрашивал Никита Иванович мучительным голосом.

— Снотворное скорей! — приказывала Демьяновна, и ему подносили к губам стакан вина и огурец. — Теперь спи, а мы вырезать будем.

— Все не вырезайте, хоть немножко оставьте.

— О-охо-хо-о!

Стон оглушал дом. Демьяновна в конце концов бросала больного под звуки запевшей в горнице гармошки, под тонкие голоса женщин и дробь каблуков. Тогда Физа Антоновна охотно затягивала что-нибудь старинное. Она редко пела. Женя не привык видеть ее захмелевшей, когда, как он понял в дальнейшем, русский человек забывает свое горе и не просит от жизни милостей — только бы отвести на денек душу свою, надурачиться и напеться всласть. Чувство это постепенно передалось Жене, и он не знал, после чего оно особенно завладело им: после смерти ли Никиты Ивановича, или когда читал материны письма в институтском общежитии, или в песнях открывалось что-то. Много раз потом собирались на его приезды-отъезды люди в их доме, и как же он чувствовал их, подыпив, как он желал утешить их хоть чем-нибудь постоянным! Ему и понравились многолюдные посиделки не за бестолковый шум и хмельные крики, ему полюбилось глядеть в эти минуты на мать, на отца, на соседей, которых он слышал и видел каждый божий день на улице, на базаре, за отдыхом и работой, глядеть и изумляться, до чего же они живые и не пропащие, никакою бедою и участью не сломленные.

И лица их попадались ему позднее повсюду на большой земле — на вокзалах, в общих вагонах, в очередях, во всяких избушках, и, сталкиваясь близко с ними, сразу превращался он в маленького, тихо изумленного Женю. «Живем, пока живы!» — кричал в нем голос Никиты Ивановича. «Когда гуляешь — все видят, заплачешь — никому не заметно», — вспоминал мать.

И правда.

На другой день свадьбы, под вечер, Никита Иванович внезапно пропал. Только что потешался, плясал и как в воду канул. Физа Антоновна забеспокоилась, подождала еще с полчаса, накинула чужое нальтишко и легкий платок, вышла с Женей поглядеть его на улице. Спускались январские сумерки, за огородами нарастило сугробами поле, ветер бесконечно дул и волочил снежную пыль в другие деревни, на запад. Не боялись вот селиться когда-то тут люди, хотя кругом такая жуткая пустота. Зато как тихо, как, наверно, вольно нацанам в летнее время и как таинственно слушать в волчьи морозы сказки и были ста-риков. А Никита Иванович жил тут с детства и, наверно, потому и вырос таким бесшабашным и неунывшим.

Они прошли с матерью закоулочек, вдали кто-то стукнул о приступки топором ли, лопатой, и затем они услышали вздох человека и остановились, испугавшись. Впереди ничего не было, белел понизу снежок, и справа, на краю спадающей к речке земли, черной промерзлой тенью высился тополь.

— Физа-а... — звал жалобный мужской голос. — Физа, иди сюда... Иди посмотри...

Женя подумал, что отца кто-то ударил.

Физа Антоновна побежала к тополю.

У Жени все опустилось внутри! Что они будут делать, если не станет Никиты Ивановича? Он побежал тоже и обогнал мать.

Никита Иванович обнимал ствол руками и плакал.

— Что с тобой, что такое? — спрашивала Физа Антоновна, склоняясь к нему.— Перепил?

— Старенька-а... — выдохнул он, стирая рукой слезы и сморкаясь.

— Вот новое дело,— сказала Физа Антоновна.— Не хватало только тебе заплакать. Смеялся, песни пел — и на тебе. Да что такое?

— Какое ваше двадцатое дело.

Вдруг он, кажется, повеселел, скривился в улыбке, вздохнул и опять высыпался. И опять замотал головой, растирая слезы.

— Женя, сынок! Смешно, что отец плачет, сопли распустил? Бык тоже здоровый, а и ему кольцо в ноздри продерживают. Вот, видишь, по-дойди, сынок, вот тополь, у которого я рос, а тут два метра — и дом наш стоял...

— Ну что ж теперь...— сказала Физа Антоновна.— У всех у нас свой дом был... Этому не поможешь.

— Пап, — тянул его Женя, — пойдем, замерзнешь...

— Лошадку как запрягешь, выведешь, а она аж блестит! Нема делов,— сказал он слабо.— Не хочу вспоминать. А где моя фуражка?

— Ты ее надевал?

— Разве? Ах, старенька, ты, да я, да мы с тобой... Они что,— показал на Женю,— ничего еще не понимают. «В одном прекрасном месте, на берегу реки-и», — пошел вперед и запел.— Сынок! Видал, как меня уважают? Вот. Видал, как встречают Никиту Ивановича?

Звездным далеким светом покрылась деревня. Женя шел, поддерживая Никиту Ивановича, и думал о своем доме, об осине в палисаднике.

Перед двором Никита Иванович стал дрыгать ногами, и, войдя в дом, где без него на время все стихло, он быстро переменился, недавние переживания свои как отрезал.

— Жить стало лучше,— он протянул руки, как чтец,— жить стало веселей: шея стала тоньше, но зато длинней.

Этого было достаточно. Все засмеялись.

— И стоит без шапки у тополя, плачет,— простодушно и весело сказала кому-то Физа Антоновна.— Так и замерзнуть можно.

— Нашел об чем плакать! — удивилась Демьяновна, не снимавшая мужских брюк.— Да мы не такое теряли. Раньше я девушка была, а теперь где лягу, там и мягко.

— Нема делов! — Никита Иванович пошел за стол.— Что вы скисли? Нема делов! Чей бережок, того и рыбка. Баянист, давай. Ладом, ладом только!

И снова хозяева и гости были довольны Никитой Ивановичем. Жене так и запомнилось: Никита Иванович всем очень понравился. Физу Антоновну тоже полюбили, как любили ее всегда и везде.

— Физа, милая,— говорили ей,— как же мы тебя раньше не знали, сколько раз останавливались у Моти, мясо привозили торговать, ну, слышишь — «Физа» и «Физа», а это ты, оказывается. Теперь как повезем сено на базар, буду знать, где моя новая полруга, может, еще и ночевать пущишь. А мы в долг не останемся. И ты, Физа, не обходи нас, как что — и приезжай со своим. Он, смотрю, веселый у тебя, наверно, ладно живете. А насчет сена — как не хватит вам до марта, то пусть Никита звякнет, не посчитает за трудность, мы уделим возок. Тесней надо жить. Друг друга не пожалеем — никто больше не пожалеет. Ну, Никита Иванович,— обращались тут к нему,— как жена мне твоя понравилась, какая она у тебя молодая душой да спокойная, где ты ее, черт носатый,

нашел? Жалеть должен, с таким характером не каждый день попадается.

— А то я не жалею. Скажи, старенька!

— Ой,— отталкивала его Физа Антоновна, смущенная и довольная, в надежде, что после этого немножко старательнее будет, подумает.— Сиди уж.

— Нормально! Приезжайте смотреть, как я живу. На полу, а положу. С огорода — на целый год жрать. Сколько мы нонче насолили? Кадки четыре будет?

— Да ты что! Кадушку я насолила.

— Ты тоже трепушка не хуже. По соседям не бегаем. Сыновья в шелковых кальсонах.

— Проживем как-нибудь,— стараясь угодить мужу, говорила Физа Антоновна.

Она не выносила сору из избы. Она всем отвечала, что живет ничего, с неба, конечно, манна не сыплется, но не жалуется во всяком случае. Она много раз научилась за время войны: тому, что никто не постараётся, если сам не добьешься, что у каждого своя жизнь и в каждой семье свои недостатки, что лучше перемолчать, чем лезть с бабскими криками, что всегда и во всем следует, по совету отцов, не поддаваться на злобу, а жить, как положено хорошему человеку.

Она ждала, чтобы поскорей вырос Женя.

А Женя был еще все-таки маленький и слепой. Его чему-то учили там в школе, и он мало размышлял о Широкой улице. Однако и от него порой не скрывалось что-то неладное: например, в их семье отец не разговаривал два-три дня с матерью, ужинал после работы и ложился спать поверх одеяла в брюках, напуская на себя какую-то обиду.

Но вдруг приезжали из Верх-Ирмени колхозники. Растворялись тогда ворота, тесно, шурша сеном, проталкивались меж столбов возы на санях, заслоняли во дворе вид на соседские окна, лошадей ставили в огород, поднимались к небу оглобли, а изба наполнялась кисло-прекрасным духом сырьмятных ремней, овечьих тулузов, на кудрявой теплой изнанке которых спали колхозники. Сени заваливались мерзлыми телячьими тушами, дугами, упряжью, на печке подсыхали туго обтянутые литой резиной валенки, до полуночи висел под потолком махорочный дым, и Физа Антоновна часто раскрывала двери в холодные, подернутые инем сенцы. Тотчас забыв о недоразумениях с женой, Никита Иванович присаживался чистить картошку и ласково покрикивал:

— Ты, старенька, по-скорому отвари, а то гости с дороги.

По воскресеньям Никита Иванович помогал им торговать. Крик стоял во всем ряду, и никто не мог так привлечь покупателя, как он. Изредка согреваясь глотками из чекушки, приплясывая, подманивал он покупателей к своим весам.

— Ну, молодой человек! — кричал он.— Берите последнее. За пол-цены отдаю.

— Старое?

— Кого! Телочка молодая, девушка, семнадцатый годок, замужем не была.

— Ну, это не Никита Иванович, а черт! — хвалили его вечером.— Как скажет, так продаст, как продаст, так еще скажет. Сено — не успели воз подогнать, он уже, ровно чужой, идет цену набавлять. Что твой цыган.

Это было приятно слушать, и думалось, что если достатка и нет, то он будет завтра, потому что в это верит и сам Никита Иванович, верит совершенно серьезно, без всякой брехни.

196 ... г.

...Ты, сынок, спрашиваешь, до се ли я покоряюсь всем, мол, на мне все воду возят. А что я, сынок, покоряюсь, я не покоряюсь, ко мне по-хорошему, и я по-хорошему, ну, когда и бывает — задерется кто-нибудь, да та же Демьяновна, например, знаешь, какая она на язычок вольная, с ней не хочется встревать в ругань, перетерпеть лучше, где и переплакать, а что поделаешь, наша доля такая — помалкивать. Ты там не качай права без толку, правды у людей не добьешься, себе только хуже сделаешь. Так припишут тебе за язычок — и пропал, не поймут, что ты из хороших намерений чего-то добивался, тогда и молчать будешь, да поздно, все будут пальцем показывать: а, вот он какой, мы его знаем. Нет, давай-ка, сынок, не связываться с плохими людьми, их не переспоришь, тем более если в кармане пусто и своей руки вверху никакой нету. Твоя мама усердием брала, а обижали — ну так редко кого в жизни не обижают. За правду, сынок, конечно, надо бороться, но сперва выучись, силу почувствуй, узнай, почем жизнь, тогда к каждому делу умное слово припашешь, а не так чтобы: покричал за компанию да разошелся и забыл. Советую тебе осмотрительней быть, ты развитой, не глупый, а иной раз такое завернешь, что страшно... А мама, она за всех переживает...

Глава восьмая

Никите Ивановичу производство выделяло траву далеко в лесу. Помнит Женя приготовления к отъезду.

Физа Антоновна покупала хлеб, крупу, дешевую колбасу, сворачивала в одеяло рабочую одежду, старалась расторговать за остаток дней молоко. Задержка всегда была за машиной. На скопленные деньги брали несколько бутылок водки и добавляли бидончик «со своего завода» — рыхой мутноватой бражки на сахаре и дрожжах. Никого нельзя обделять: будь то завгар, подписывающий на законном основании в далекий рейс путевой лист, будь то объездчик в лесу, отрезавший делянку, или просто помощники, свой брат рабочий. Скупись не скупись — без этого не обойдешься.

Жене и Толику отец готовил маленькие литовки.

Хозяйство оставляли на соседей. Дружили домами не первый год, еще с ненастных дней войны, и навечно врезалась в память эта скорая готовность к помощи и сочувствию. Беднее были — как-то лучше выручали друг друга, потом уже, когда понаставили каменных домов, повырастили детей, стали потихоньку завидовать и порой ссориться. А тогда любо было глядеть на сборы в дорогу — на покос ли, на картошку.

— Если что, — поспевала Демьяновна, — я корову привяжу и подою.

— Да ладно уж, — довольная, отказывала Физа Антоновна. — Мотя подоит, я на нее оставляю все тут, если захочешь, распоряжайтесь вместе. У кого когда время будет. Молоко пейте, придет кто купить — налейте, а что останется — отдавайте этим: баба у них слепая, у них детей много. Ведро эмалированное поставила в сенках, помидоры, какие поспели, сорвите да в корзину, огурцы, если сможешь, насоли кадочку, а я тогда в долгу не останусь. Тут, может, Груша придет, я ей обещала чугунок поросятам варить, дашь ей, он под лавкой в сенках. Что еще? Ровно все.

— Не сомневайся. То ты не знаешь меня, — кричала Демьяновна. — Я лишнее все пораскидаю. Приедете — одни стены. Дай вам бог.

— Ой, да хоть бы трава хорошая попалась. Шутка — в такую даль забраться. Да не дай бог дожди польют.

— Я телеграмму отобью: корова сдохла, приезжайте хоронить.

Они целовались, крестились, Физа Антоновна даже всплакнула. Внезапно как-то жалко было оставлять дом.

Уезжали с росой — на ранней зорьке. Женя просыпался позже всех; дальняя дорога, которой он раловался с вечера, заспанному была нежеланной, за часок-другой сна он, казалось бы, отдал все на свете и уже сожалел, зачем у них корова, о которой думают больше, нежели о человеке, зачем дальний покос, поспать бы, поспать.

— Вставай, сынок, вставай,— толкала его мать, обычно дававшая понежиться,— вставай, там доспиши.

Никто потом его так не жалел и никогда не звучал так ласково голос. Сама она вроде бы и не спала. Удивительно, когда вообще спят русские женщины. Куда бы он потом ни поспешил — всюду впереди были женщины. Боже мой! Как можно забыть свой порог и руки сестер и теток, поднимавших на печь чугунки!

Помнится, до глубокой ночи сверкала над Женей лампочка, мать что-то доваривала, подшивала, укладывала и под утро лишь вздремнула на часок. Еще не доили коров, и солнце еще тонуло где-то в море на востоке. Никита Иванович, тяпнув для бодрости стаканчик, заорал: «Ой вы гуси. гуси молоды-я-я-я» — и, подсадив мать в кабину, залез в кузов к ребятам.

— А веревку ты взял? — спрашивала Физа Антоновна.— Держите бидончик крепче, молоко выльется.

— Я флаг сошью к вашему приезду! — кричала Демьяновна.

Никогда уже не повторится это, не собраться им вместе. Уже взрослым Женя все как-то старался задержать утекающее, долго видел детскими глазами поэзию там, где взрослые просто жили, старались и торопили дни.

Но, может быть, думал Женя порою, настроение счастья создавалось Никитой Ивановичем, и Женя, к сожалению, к счастью ли, никогда этому не научился — не научился обманывать самого себя.

На пути их стояла древняя Колывань. Падали от ее домов луговые тропы к большой реке, зноем дымились леса, конца краю не было зеленому сибирскому небу. Жизнь обещала заглохнуть за последними рядами деревни, за стадами коров и полянками, но детское воображение ошибалось: под горюю, точно прибитая, темнела на голубой воде обливавшая пристань.

— Ну, бабоньки,— говорил Никита Иванович в кузове деревенским пассажирам,— на бензинчик, на бензинчик. Дорого не берем, брали бы больше, да милиция не позволяет. По рубчику с рыла.

Женя и Толик отворачивались, стыдно же было просить за провоз на казенной машине.

— На четушку бензинчика уже есть,— усмехался Никита Иванович и часа через два объявлял, прыгая из кузова прямо на крыльцо магазина без окон:

— Остановка «Сельское по!»

— Никита Иванович, здорово! — тыкал его в бок какой-то косой мужик в кожаной фуражке.

— Здорово, как жизнь? — спрашивал с ходу Никита Иванович, словно ненадолго разлучался с мужиком.

— Ничего.

— Достань там огурчиков,— обращался он к жене,— угости, у них в деревне такого нету. Хе-хе. Живем ничего, кто с базара, а мы на базар.

«Куда ни приедет.— с недовольством слушала Физа Антоновна,— все у него друзья, и когда он успел их порасплодить? Сейчас угощать

будет. Вот наказание. И тучи находят, в самый бы раз ехать, еще вон сколько лесом».

— Старенька, у тебя там мелочишки не найдется?

— Никита, ты куда собрался, ты думаешь или нет? У каждого угла будем...

— Приголится.— Он моргнул жене по-деловому, но она-то знала, что все впустую.— Я мимо не лью.

— Не льешь. Поворачивай тогда назад.

— Да хватит тебе уже! — Толик брал его за руку.— Мам, не давай ему.

— Да поедем. Никита, что пустое молоть, кому это понравится?

— Дай с человеком поговорить, успеем. Пусть трава подрастет.

В то время, как мать упиралась и мучительно подчинялась неотложным делам, Никита Иванович умел находить уладу в любой мелочи, и чем скорее дорожка уводила от главного, тем готовней он поддавался, откладывая на дальнейшее заботу, утешал себя, что вот потом-то он и возьмется за главное, а пока передохнет. Ему всегда не терпелось перedoхнуть, и он все обманывал себя. А Женя толкался возле него и не спешил, хотя до потемок еще было ехать и ехать, провожая глазами мостики и поселения и босых девчонок, к которым уже странно влекло его. Стеснительность была дана ему от роду. И даже в лучшие славные дни и он и мать его не избежали в себе робости, когда, кажется, будто все на свете лучше, чем ты. «Как-то совестно,— говорила мать по всяким поводам.— Ровно в чужой карман лезешь. Пусть люди похвалят».

А Физу Антоновну отвлекали свои мысли — она точно все складывала и вычитала в уме, косила, поднимала навильники с сеном, думала, сколько понадобится бражки на угощение, сколько денег уйдет, пока поставишь стог в огороде. Только бы справиться вовремя — начнется осень, ребята пойдут в школу, опять нужны обувка, теплые штанишки, книги... Никита Иванович пел в кузове, ребята смеялись, и она глядела на дорогу и не чаяла добраться до места, казалось, не успеет — либо трава посохнет, либо захватят их делянку другие.

Мысли перескакивали с одного на другое, и всплывали картины, слова. Вспомнила письмо Паши, Парасковьи Григоровны, как она подписывалась в конце длинных, без запятых строк, давней ее подружки, оставившей Кривоцеково после войны. С нею еще в деревне сошлась Физа Антоновна, в один месяц, на масленицу, вышли они за братьев Ивана и Василия, в одной комнате жили на заработках в Донбассе, гуляли, крестили детей и не разлучались в Сибири, особенно когда проводили мужей на войну.

Сникшее лицо Физы Антоновны с напухшой у брови бородавкой грустнело, замкнутый взгляд видел что-то далекое, ведомое ей одной. Не так уж часто выпадали в ее житье-бытье минуты, чтобы ненадолго всколыхнуть забытую пору и удивиться, будто не с нею это и было. Самое главное — иметь рядом человека, которому всегда охота пожаловаться в печали. Без такого человека трудно — она убедилась. Перехватить денег, попросить накваски под варенец, перетаскать сено, покарaulить дом или посмеяться в хорошем настроении — кого-нибудь същешь. Но для доли душевной очень редко. И Паши вот не было уже сколько лет. Время пролетело, как в песне, которую они, бывало, тянули вдвоем в застолье, и все надежды перенесли они теперь на своих деток.

Физа Антоновна отчетливо сознавала, как не просто будет ее сыну на своем веку. Вот сидит он сбоку вместе с Толиком, неродным, а привычным, сидит еще ребенок, все с книжкой, и, худо ли, бедно, сидит возле матери: она и поругает, она и погладит. А вырастет, попадет к чужим людям да, не приведи господи, в далекую сторону — кто последит за

ним, кто построжится, кто вовремя пожалеет? И она только и будет гадать: где он, что с ним, обедал ли? Спасибо хоть уберег его бог, единственного из шестерых, поумиравших грудными, ну что бы она делала теперь, во имя чего жила?

Она, вздохнув, чувствуя в сердце любовь ко всему живому, лезла рукой в мешок, брала круглые ташкентские яблоки и неожиданно предлагала Жене, и Толику, и отцу в кабину, сама же и не надкусывала.

Небо кололо звездами, и непонятно было, когда доедут до места. А место, где они косили несколько раз подряд, всем очень нравилось. «Курорт! — восклицала мать.— Настоящий курорт».

Вот какое-то утро какого-то дня. Белый дым еще ползает над прудом за домиком, в котором спят на полу ребята.

— Псдымайся! — будил громкий голос.— Спать, что ли, приехали! Уже все девки заждались. А ну-ка по-военному! Лошадь ждет, мать завтрак сварила.

Отец сдергивал одеяла и щипал за попку. Ребята вскакивали и выходили на росистые ступеньки крыльца.

— Бегом, бегом, пока девок нет,— гнал их Никита Иванович.— Вон за угол. Жалеешь ты их, мать, разбаловала. Вот так женятся и будут обед в постели встречать.

— Им только и время понежиться. Еще успеют намаяться. Не дай бог, корову будут держать.

От пруда тонко текла прохлада, круглые его берега блестели травой. Мошки вихрились над сонной водою, чуть тронутой первым широким отсветом восточного неба. Никто не угадает, что таится под этим ровным сверкающим покровом, только у края чувствуешь, опустив ногу, жидкую землю, а через шаг, через два — падаешь вниз с головой. Пруд мигом становится живым, шелково-скользким; Женя пугается омутов, пиявок и, не добравшись к другому берегу, поворачивает и с испугом плывет к колышкам.

Всего в нескольких шагах мать расстилает на траве мешковину под хлеб и госуду.

У телеги возился с низенькой худой лошадью дурачок Коля.

— Садись с нами, Коля,— с преувеличенной серьезностью звал Никита Иванович.

— Благодарю,— отвечал Коля.— Я съел две пол-литры молока и даже обожрался.

Женя помнил, как был на покосе последний раз. Никита Иванович брал тогда в помощники Демьяновича. Демьяновичу некуда было девать свои отпускные дни: по курортам не ездил, выпивать не любил, сидеть же с утра до вечера дома душа тоже не выносила, тем более что жена его совсем распустилась, шастала по дворам, смеялась да плясала, и никакого сладу с ней не было. По дому онправлялся один. С каких пор еще приучила Демьяновна мужа обедать в столовой, на работу уходил с куском сала, и ужин не всегда поспевал к его приходу. Он подметал в ограде, поливал в огороде, встречал корову, что-то закапывал, пристраивал и постепенно привык к одиночеству.

— Ты бы ей поднес раза два под глаз,— советовали мужики.— Она тебя за тряпку считает.

— Ну, я-то ее получше вашего знаю. Ее ничем не возьмешь. Такая уродилась. Пес с ней. Хватится, да поздно будет. Наверно, сразу надо было учить. А раз спустил — потом не поправишь.

Женя так и не узнал его до конца, был слишком мал, потом совсем потерял его. А на покосе, на вольном воздухе, Демьянович становился неизвестным. Вот еще секрет жизни, понятый Женей уже в юности: толь-

ко присутствие располагающих к себе людей помогает человеку раскрыться. Наверно, в работе только и было хорошо Демьяновичу. Крупный, сильный, он ворочал за четверых и этим немножко унижал ленивого Никиту Ивановича и даже подшучивал над ним, на что у Никиты Ивановича не находилось почему-то достойных ответов. Демьянович широко заносил косу и дрожавшим голосом заводил песни, которые ему передались от дедов, еще от тех, кого орловский барин выменял на ворон, дал им вольную и тем самым пустил в дальний сибирский край.

Но едва кончали работу и садились подле костра возле чашки с картошкой, вступал в свое Никита Иванович, и Демьянович уже снова был тих, скромен и неуклюж.

Чаще другого вспоминали войну.

— Там у них, Демьянович,— рассказывал Никита Иванович,— особенно у немцев, кладбище — как музей. Скульптуры, каменные гробы, идешь — ну точь-в-точь по музею. И цветы, цветы, деревья. Не жалко и лежать. У нас этого нет. Матушка Россия закопала, фотокарточку прилепили, как дождь пошел — смыло, крест опустится, бурьян, ограду из труб сварят — лежи! Учитель какой-то к своей жене ходил. Не поверишь — каждый день! Дождь, снег — ему все равно. Круглый год могила в цветах. Я, дай-ка, откину копыта, кто ко мне ходить будет? Физа? На родительский день только что. Ребята забудут.

— Не забудем, — уверял Женя.

— Только уговор: с поллитровочкой приходит. С «московской». Стаканчик мне нальете. А пить там нигде не умеют. Нальют в бокальчик кислого и цедят сквозь зубы. Ну что нашему брату тянуть резину, да подь ты к черту, раз — и там... А дороги какие! Ну, правда, и земли-то там мало, у нас до Колывани сколько — это область, а до востока еще столько! Широка Россия, а отступать некуда! Кто сказал? — выкрикнул он и облизнул языком губы.

— Кутузов.

— Я!

Демьянович смиленно слушал и, чтобы подавить смущение, часто кашлял в кулак. Он не воевал, ему давали бронь как лучшему мастеру на заводе.

— Да-а... — крякал он, — да, конечно... нам бы надо не так жить. Земли вон сколько.

— Сомнения нет! — поддерживал его Никита Иванович. — Разве я думал, что мы с Физой по сто сорок литров молока будем налог относить? Только молоком одним, а это еще не все...

— Ну, а что, Никита Иванович, — спрашивал его Демьянович, как лектора, словно меньше всех понимал обстановку жизни, — война-то будет? Вон в Корее, видишь...

— Не... — Никита Иванович отводил рукой его опасения. — Нема делов. Наши тоже не моргают. Не думай. Сейчас те-ехника... Не, это дело такое. Всем по мозгам дадим. Вон знаешь в ту войну еще, сто лет назад, один адмирал писал, в Севастополе, говорят, его слова висят: преклоняюсь, дескать, перед мужеством русского солдата, пусть поищут такого в других нациях со свечой! И верно. А куда денешься? Так. Четыре года, подумать страшно, что мы вынесли. И не болели! У меня язва желудка была, в болоте полторы суток сидел — ни хрена не чувствовал! Не, Демьянович, не бойся, еще попьем водочки.

Сколько бы ни слушал Женя мужиков за вечерней беседой и тогда и после, всегда возникало в нем чувство спокойствия и гордости. В самом деле, спокойно было рядом с Никитой Ивановичем и Демьяновичем. Он и ложился к ним поближе, временами испытывал желание скрутить

такую же «кошью ножку» и порассуждать о чем-либо, да куда там: умишко был незакаленный. Мужики на покосе у костра, на завалинке, в буфете у стоек, на стадионе, в компании после какого-нибудь горячего дела! Есть ли что прекраснее на свете их слов, грубых шуток, историй, их смешной мгновенной щедрости, внезапных признаний друг другу, заключения споров «на что хочешь» — и порою слез, и вздоханий, и тайных откровений! Как тесно иногда может жить человек!

Может, тогда и воспитался Женя.

Он потом часто навещал старые места — только бы поглядеть, только бы убедиться, что они не исчезли. А они были, и была сенокосная пора, и последний стог на широкой поляне, который они утаптывали с Толиком. Демьянович кидал самые грузные навильники. Никита Иванович поспевал вслед за ним и, отходя, по-жеребячни орал, вызывая смех.

— Ладом, ладом топчите! Подчистую. Вот так, старенька, — он поворачивался к Физе Антоновне, — а ты говорила: не хватит. Хватит! Кому другому, а нам по горло.

Он кинул вилы в сторону и принял танцевать, дурашливо ломаясь и высывая язык, как во дворе в хорошие дни.

А Женя все смотрел, все смотрел и восхищался. Он не понимал еще в те минуты, что Никита Иванович замолкнет в его памяти не только бесшабашным, но и загадочным.

Развесистый воз сухого, с цветами сена покачивался под топтавшими его наверху детскими ногами, еще далеко было везти его, следить, как бы не растряслось оно по дороге и не перевалилось набок. В этом стогу заключалась жизнь. Физа Антоновна вскидывала глаза к облакам, молила их не сгущаться и переждать. Воображение Никиты Ивановича играло вовсю. Что ему дожди, ему — шоферу первого класса. Обманчивый ум его наслаждался мечтами, дом стоял вдалеке полной чашей, откуда-то рекою текли в карман деньги, переносил он погреба, заборы, заводил обстановку и уже красовался перед соседями, вызывал зависть, уже не знал, куда поместить себя в жизни повыше — все вроде было!

А стог еще лежал на машине. Демьянович, пока Никита Иванович прижимал вилы под мышкой и дымил, отряхивал сено со всех сторон, подчищал внизу, выдергивал руками пучки и никуда не спешил, готов был и завтра еще косить, согребать...

— Скорей, скорей, — говорил Никита Иванович.

— Тебе лишь бы как, — сердилась Физа Антоновна. — Один уж раз отмаяться.

— Да чего там! Двух коров прокормить можно.

— Трех.

Никита Иванович считал, что она, Физа, из ничего выдумывала лишнюю работу. Но что самое интересное — ребята были на его стороне, зуд нетерпения тоже томил их.

Наконец пбросали наверх фуфайки, обвили литовки тряпками, Никита Иванович отошел полюбоваться назад и сказал: «Ну, слава бого», — а Физа Антоновна попросила:

— Подождите. Еще веников наломать.

Плечо у нее побаливало — прижали ее как-то в очереди к дверям, когда давились в универмаге за kleenкой, — и устала порядком, тоже с удовольствием залезла б на мягкое сено и помчалась домой, но надо довести до конца: за нее никто не постарается. Ломая березовые ветки, она напоследок разогрелась, почти счастливая вынесла зеленую охапку и сказала:

— Кончился наш курорт. Если б ребятам не в школу — и не уезжала бы!

Оставив мужиков курить и разговаривать, она пошла к стану сама, там Толик топил летнюю печку и дымом разгонял комаров.

— Да-а, — повторял Никита Иванович, наполняя стакан, — вот это мы дали! Какой воз! Красавец! На базар вывезти — три-четыре тыщи с закрытыми глазами ладут. Вы как хотите, а я допью. Чтоб коровка двадцать пять литров в день — и нема делов. Сено уже в городе.

— Ты сперва привези, поставь.

— Утром в семь ноль-ноль лома как штык. Поедем в ночь.

— Кто это в ночь едет? Утром, на зорьке, и поедем.

— Как звать? — Он схватил за локоть Физу Антоновну. — Перед начальством не спорить. Начальство за вас думает. Повалитесь на верхтуре — и спать, не все вам равно? Едем!

— Выпивши поедешь — права отберут.

— На всех не угодишь. Это, Демьянович, в позапрошлом году едем с картошки, останавливает меня товарищ в фуражке. «Почему за рулем пьете?» — «Я за рулем не пью». Повели в участок. Я права скинул Физе, вышел. «Документ?» — «Документы на проверке. Можете позвонить в город Кипиной Дуньке». — «Какой Дуньке?» — «Кудрявая, — пускаю пыль, — девяносто килограммов весу, в ухе серебряную подкову носит». — «Вы не забывайте, где находитесь?» — «Нету документов! Не верите? Обыщите! Могу штаны снять, одна голая задница, факт налицо». Расстегиваюсь. Уморил от и до. Ржа-али. Однако на пол-литру пришлось дать. Сатира и юмор.

Немножко отдохнули. Женя и Толик искупались в теплом пруду, кричали, как лешие, звали к себе дурачка Колю, надеясь почудить над ним по-отцовски, и, когда обсохли, натянули штанишки и рубашки, жалко стало расставаться с деготной густотой леса, с костром, с печкой, на которой серебрились чугунки, со спутанными, пущенными Колей в ночь лошадьми, с самим Колей. Они потрясли его черствую руку, месяцами державшую вожжи, и сложили ему в мешочек остатки консервов, масла, хлеб и спички, сторожу мать отдала стаканы, ложки, бидончик из-под молока, и, покачиваясь, задевая сеном листву, поехали на длинную, ускользающую вперед струю света от фар.

Ребят не впервые заставала в дороге темная ночь на отцовской машине. Ночью, наедине со всем миром, было даже интереснее, и они часто просили взять их с собой. То раскинешь ноги в кабине и слушаешь старую песню горластого отца, то прячешься от ветра в кузове — один или с попутчиком, — и всегда видишь звезды, как на воде, стекающее к земле небо, черноту затаивших все живое полей. Крестами протягивается неогороженное кладбище, и не подумаешь еще, что тебе тоже когда-то лежать под холмом, как всем, кого ты знал и кого не видел. Нету пока смерти для тебя, она назначена кому-то, ты еще не взял от земли отпущеной тебе доли, еще не обмахивали тебя на свадьбе веником по голове, и не били перед молодыми наутро посуду, и не собирали тебе узелок на войну, и не пропал ты еще для родной души без вести на широкой земле...

Ехали без остановок, а когда машина на минуту тормозила, Физа Антоновна спрыгивала на землю и окликала лежавших в сене Демьяновича и детей:

— Не дует вам? А то укутайтесь олеялами.

— Нормально, ехор-мохор! — кичал, подражая отцу, Толик.

Отец пел не переставая. Женя лежал на спине и глядел на небо, на звезды, искал Большую Медведицу. И Демьянович, и мать, и отец знали: небо — небо и есть, и чему удивляться? Как и бабушка, они знали, что если оно затягивается тучками с севера — к ветру, если на нем красные облака до восхода — к ветру, если радуга вдоль земли — к

дождю, если поперек — к хорошей погоде. Мудрый Демьянович знал землю, и песни он любил понятные, и все, чем ни жил, было ясно как день, а попробуй раскуси, что у него на душе.

Спина Демьяновича закрывала их от ветра, но вдруг она колыхнулась, вскрикнул Толик, и в короткой тишине они тюкнулись с глухим звоном о твердые ведра и вилы.

Женя открыл глаза и снова увидел спокойное небо с высокими звездами. Ведра и грабли валялись около, и под руками была земля. Он пошевелился, привстал с болью в коленке.

— Ой-ей, ой-ей,— плакал материн голос,— ребята убились! Толик, Женя, где вы?

— Здесь, мам.—Хромая, Женя пошел ей навстречу.

Мать ощупала его.

— А Толик? Толик-ик! А Демьянович живой?

Толик уже стоял вдалеке, прижимал локоть к животу.

— Ну, целы? — Никита Иванович вышел из машины и стал искать Демьяновича. Того отбросило дальше всех.— Демьянович! Сильно убился? Ты слышишь, ты живой, целый? И как я не заметил! — Он бил себя по ляжке, переживая и чувствуя стыд.— Ну, давай берись за меня, давай подниму.

Демьянович встал, туго разгибая спину.

— Говорила тебе: поедем, как люди добрые ездют,— с утра!

— Кто мог подумать, кто ж мог подумать, что так выйдет! Ну, ничего, ну, слава богу, живы... Где у меня папиросы? Паразиты, дорогу не могут выстлать, голову некому оторвать, сукиным сыном.

Он пошел, матерясь и горюя, отыскивая дорогу, по которой надо было ехать, плевался и винил кого-то. Грустно стало. Отдалились куда-то мечты, встреча с домом, трезво стало и пусто.

«Не хотелось же мне ехать, как чувствовала»,— думала Физа Антоновна. Демьянович молчал в стороне. Толик соображал, как будут поднимать машину.

Впереди выпирал мост через узкую речку, сбоку к нему поднималась ровная мягкая дорожка в два следа. Никита Иванович газовал напрямую. Торопился.

Апрель 196 ... г.

Добрый день, веселый вечер. Письмо твое, Женя, меня крепко огорчило, распечатала, обрадовалась, что большой лист написан, стала читать, на третьей странице остановилась, не могла больше слов видеть, как забилось в груди, появилась материнская обида, стала вспоминать, сколько лет ты остался без отца, как ты, мой сыночек, быстро вырос, я никогда не ожидала, что ты скоро женишься, я так плакала, мне казалось, что я для тебя буду уже не такая родная. Пишу письмо, а сама строчек не вижу. Я знаю, Женя, что это плохо, ну не плакать не могу. Если у тебя так дело складывается, то я тебя, сынок, благословляю родительским словом вступить в законный брак с тем другом, который останется на всю жизнь. Желаю я вам счастья и любить друг друга всегда и везде, хотя я и поплакала, но не могу против жизни, так что уж я против ничего не имею. В тот день, когда ты писал, я себе места не находила, ровно чувствовала, и сон мне был какой-то странный. Жалко, что не смогу приехать, недостатки наши мешают, да и дом с хозяйством бросить не на кого, и далеко ты забрался. Если ничего не стряслется, увидимся. Желаю быть вам счастливыми на многие лета... Деньжат пришли.

Глава девятая

Какое счастье — вернуться к своему забору, взглянуть на родные портреты по стенам. Только в родном доме висят одни и те же портреты. Неподвижные лица родителей с каждым годом становились для Жени моложе. А в жизни мать потихоньку старела, Женя догонял отца, уже вступал в тот возраст, когда отец нянчил и хоронил детей, братьев и сестричек Жениных. С гладко причесанным чубом, в плоском галстуке, глядел он с высоты день и ночь на пустую белую стену комнаты. Он и в братской могиле под Запорожьем лежал тридцатипятилетним, и если бы встал, не угадал бы ни сына, ни жены своей Физы с русыми кудрявыми волосами и свежим покорным лицом. В ночную бессонницу Жене верилось, что мертвые следят за живыми из своего темного сиротского мира.

В последние годы Физа Антоновна чаще и чаще рассыпала письма по городам и деревням, где жили ее постаревшие подруги молодости. Было чем поделиться.

Сын стал гостем, к тому же приезжал не каждое лето.

Мать суеверно боялась за Женю: он повторял ее характером, тяжело ему будет такому.

Они чувствовали друг друга за тысячу верст.

По всей дороге, с запада на восток, торговали на станциях женщины в белых платочках.

— Бери, сынок,— говорили они,— с картошки поправляются.

Мать заворачивала картошку в листики из школьных тетрадок. Старателльным детским почерком выполнял Женя когда-то упражнения по русскому языку.

«Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины,— ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя — как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома?» — переписывал Женя и тогда еще не содрогался от мысли, как это верно!

Мать говорила таким языком.

Еще в Москве и в вагоне он бывал добр и даже беспечен, по-особенному блестели его глаза, с легкой дорожной надеждой рисовалось ему его скорое и уже полное причащение к жизни и неслись в воображении, подобно полям и тропинкам, будущие спасительные для него и его матери дни. Только вчера, кажется, вынесла ему мать в дальнюю дорогу бидончик молока, переживая, чтоб не обворовали в вагоне, а вот уже и на ногах он, наступило его время.

Когда после первого курса Женя приезжал домой, то, едва умывшись, первым делом стучался к Демьяновне. Редко он находил ее в избе. Последний раз сидела она на траве в зимней шапке, в штанах, со страшными зубами, вырезанными из картошки.

Она изображала нищенку. Плела черт-те что. Она и инвалидка, ее и обокрали, и последнюю-то рубашку унесли, хибарка развалилась, детки-то ее бросили, а сама она едет-то из Белоруссии на целину — там, дескать, няньки нужны,— да ссадили ее с поезда, еле выпустили. На все вопросы Демьяновна отвечала серьезно, правдоподобно и с такой выдумкой, что животы лопались. Несли ей, поддаваясь внезапному спектаклю, огурцы, хлебушка, вареных яиц и холодец на тарелке, и Демьяновна тут же, снимая картофельные зубы, с голодной жадностью заталкивала пищу в рот.

— А пожиже ничего нет? — спрашивала она.— Рыженькой, «анапы» нету? Говорят, в первом магазине выбросили, сбежал бы, кто поможе. Лекарственная.

В первые минуты Женю одолевало разочарование. Он представлял ее почему-то другой, самой близкой подругой матери, он позабыл всякие нехорошие случаи и помнил только, как она постоянно выделяла его на улице, называя по-родственному, а потом провожала, плакала. А сейчас она уминала толстым задом траву и дурачила соседей.

— У, родненький мой! — Она бросилась к бледному, отвыкшему от нее Жене, который опять ощущал себя мальчиком. — Ух ты, сынок наш, Женечка, какой большой стал ла красивый, приехал, голубчик, к матери, мы с ней тебя так ждали, я с радости — как чувствовала! — расчала сегодня баллончик и зубы в шестой поликлинике вставила, видишь, зубы белые, ровные, не из какого-нибудь железа, а от слона!

И смех и горе с этой Демьяновной.

— Это еще ничего, — говорила мать вечером, — а вот недавно у нас было уличное собрание, участковый милиционер насчет нового Указа говорил, как применять будут плецки за происшествия с хулиганами и пьяницами. Демьяновна пришла, снаряженная, как на большой праздник, губы намазала, слегка была выпимши, слушала, сидела в одном месте, потом перешла в другое: видно, хотела что-то сказать, но мало была выпимши, не посмела. Уйти с собрания было неудобно, ну а как она всегда находчивая, то будто бы кто ее позвал из баб. «Иду, иду сейчас!» — а и вовсе никто не звал, все засмеялись. Пошла и тут скоренько вернулась, сняла с себя праздничную юбку, цветастую кофту, заложила уже и быстренько подходит к участковому, говорит: «Товарищ участковый, вы меня извините, я вас не знаю, как звать-величать, у меня есть к вам партийно слово». Ну-у, конечно, пока сходила, уже и в партию записалась. Ой, это не Демьяновна, а... Я уж сколько на нее сердилась, да чо толку. «Пожалуйста, я прошу, чтоб плецки отменили, надо воспитывать народ ласковым словом та правдой, вот как я: что ни сбреши — все правда». Участковый засмеялся... Квартиранты ее не почитают, за свет не платят, как соберутся женщины против нашего двора и она подойдет — сейчас замолкают, никто на ее шутки уже внимания не обращает, надоело. Одна я по слабости своей угощаю яблоками, говорю: «От Жени». Поблагодарила и заплакала: «Все ж одни вы всегда меня понимали, я виновата перед вами, а в душе всегда молюсь за вашу семью, до чего вы, Физа с Женей, милостивые». Конечно, тяжело ей в эти годы без хозяина, я на своей шкуре испытала. Села — и давай плакать по Демьяновичу: «Миленький мой, как я соскучилась, нигде я не услышу твоего голосочки», а потом запела «Сронила колечко».

«Обязательно надо позвать ее вечером!» — думал Женя, прощая Демьяновне беспутность, только жалея ее. И за широкое отношение к человеку он еще пуще любил мать.

— А я, сынок, — тихо сообщала мать, когда Женя приехал после третьего курса и они шли с вокзала, — я, сынок, продала наш дом. Купила через шесть дворов. Там и огород побольше, а в нашем пол завалился, ремонтировать — денег всадишь, и только, его все одно книзу тянет. старый, с твоего года рождения, при отце еще покупали. Был бы живой, рази...

— Денег хватило?

— Отдала, что выручила, да у соседей перезаняла. Выкрутимся. Первый раз, что ли, крутиться. Навсегда, до смерти.

«Ах, деньги, проклятые деньги, — думал Женя. — Всюду деньги, всюду деньги, как пел Никита Иванович, всюду деньги без конца. Можно бы хорошо заколачивать, ну тогда прощай совесть, прощайте друзья, которые тебя сразу же проклянут. Озолотил бы мать, чтоб и не думала ни о чем, отдохнули бы руки. Деньги, конечно, нужны, ну да как-нибудь, проживем и без них».

Их старый дом с голой осиной в палисаднике уже перестраивался новым хозяином. У ограды лежали кирпичи, забор повалили, сенки, хранившие до грустного дня отцовские письма, крыльцо, где так часто топал Никита Иванович, можно было только представить. Так всегда: появится новый хозяин — и начинаются его дни, будут копиться тут его воспоминания.

Обещал Никита Иванович отгрехать каменный дом, да не запас даже кирпичика. Конечно, уж не погреться на крылечке на зорьке, на первом солнечном кружке под окном. Из окна уже не взглянешь на сорок по легкому снежку, из бани кто пройдет — не сразу увишишь, как бывало. Все было и не вернется — и очертания, простор самих комнат, в которых ждал мамку в войну поздним вечером, в пугающем стрекоте ходиков, когда носила она молоко в девичье общежитие, передачи «Огонь по врагу» с Хмельковым и Ветерковым, молитвы, уже забытые, гости, колхозники, последние известия, песни, слезы, Толик... Поразительно, что накануне продажи явился Физе во сне Иван, до этого долго не снившийся. Стоял перед зеркалом, а она якобы сидела на мешке с картошкой, мешок этот порвался, и картошка посыпалась, и Физа гребла, гребла ее руками к себе. «Это твой первый мужик не хочет, чтобы ты уходила из дома», — сказали соседки.

К приезду сына она припасала кисленького вина и бражки, и к вечеру стол густо обсаживался гостями. Перед этим Женя ходил в первую баню попариться. Там в гулком прохладном зале ожидания он на минуту присаживался на тяжелую лоснившуюся скамейку и мигом вспоминал такую далекую теперь послевоенную пору. В кассе, словно нарочно, словно чтобы растрявить Женины чувства, так же сидел на низеньком стульчике усатый корявый инвалид, и так же в три часа заступал его сменщик на деревянной ноге, и они, постно переговорив в тесной кабине, даже не подозревали, сколько связано с ними у Жени воспоминаний. В бане всегда встречались месяцами не видевшие друг друга проводники дальних рейсов, старые товарищи, фронтовики. Жили в разных концах Кривошекова, а по субботам стекались именно в первую баню, потому что тут частенько торговали пивом из бочек. В том, как они стояли, рассказывали, как обмахивали лица мокрыми полотенцами, одновременно держа в руке кружку с пивом, в том, как узнавали друг друга, сближались, шутили, было много прекрасного. Дверь в раздевалку мужского отделения не закрывалась, слышался короткий стук тазов, слышались голоса: «Откройте двадцать восьмую», «Откройте тридцать вторую»...

Женя любил ходить с Никитой Ивановичем.

— Кто крайний? — громко спрашивал Никита Иванович и оглядывался. — Пар ничего? Кто пустит без очереди — дам свой веник. Из карельской березы, трофеиный. Весь хмель вышибает!

Толик занимал в женском зале очередь для матери. Женщин почтенно всегда больше, и, значит, целый вечер будут они поджидать Физу Антоновну, а за вечер Никита Иванович не один разок наполнит большую кружку и домой пойдет чуть-чуть хороший. Везде он был своим русским мужиком; в парной открывал кран на полную и лежал, постегиваясь веником, на самом верху, пел песни. До сих пор, едва Женя сел на каменную скамью с тазиком, спина просила сильных рук Никиты Ивановича, натиравшего мочалкой до боли, его словечек: «Похудел, заездила какая-то сопливая». И все-таки что-то неизбежно тихо убывало, как убывает вода в отсутствие человека, вернешься — ее нету и наполовину. Сначала стихал, хуже ловился оттенок его голоса, неживым мерещилось в воображении лицо, потом реже вспоминался он сам, потом жизнь унесла старое чувство. Но иногда — и очень немножко — было и

старое. Иногда вспыхивало и пропадало: дом, крыльцо, какой-нибудь вечер, кусочек этого, кусочек того, кусочек, кусочек... Да и строже, без детской слепоты, стал он видеть его и вроде бы даже скорее глазами матери, нежели своими. И Женя с сожалением понял, что помнить прожитое ничего не стоит. Гораздо реже (и в этом все) удается впасть в свое давнишнее состояние, чувство, и тогда заметней, что жизнь и в самом деле проходит.

Он шел домой к матери, на свою Широкую улицу.

— Когда я тебя не встречала, когда я тебя не провожала! — отнимая веник, лезла Демьяновна. — Хоть ты и далеко, а мы с мамой думаем о тебе каждый день. Я знаю, ты любишь меня, я песни пою и сама не хуже любого сочиняю, только записывать некому. Ох, кто б пришел да послушал!

Жизнь менялась год от году, но все же неизменно было ее повторение в чем-то.

Рос, менялся и Женя. Взрослея, все больше убеждался он в простонародной мудрости, в том, что порою надо вовремя подчиниться жизни, вовремя прислушаться к ней, отступить иногда от своих снов и желаний.

— Да, братцы, — сказал на прощальной студенческой вечеринке товарищ, рубаха-парень, — кончилось наше золотое времечко. Были мы относительно равны, без знаков отличий, ночами бегали друг к другу за сухой корочкой, комнаты наши были всем открыты, и вот увидите, сегодня еще плакать будем на расставание, плакать оттого, как здорово мы жили! Что бы там ни писали в сборниках «Мудрые мысли», а человеком в наш век редко движет чистая идея. Большинство просто-напросто добывают кусок хлеба, с вечера и с утра думают об одном. Братцы мои, сейчас выпьем, но не дай бог, братцы, чтобы мы, — он встал, — беспечные, искренние хлопцы, поставили наши пусть глупые порывы в прямую зависимость от куска хлеба. Это так страшно! Давайте выпьем и останемся студентами из триста восемнадцатой комнаты. Хорошо ведь жили! Женя! Как ты нам копировал своего Никиту Ивановича: ехор-мохор, если бы мой бы Алексей...

Этот прощальный вечер вспоминался Жене и по дороге домой, когда он возвращался к матери насовсем.

Он приехал и почти три дня ни к кому не показывался. Демьяновна ждала, когда же он позовет ее.

Утром петрова дня она проснулась с больной головой. Росный холодок обдевал теплые ноги, она спустилась в огород, зевнула и фартуком вытерла рот. Одна, никто на белом свете ей не указ, она сама правила жизнью, с шуткой обходила топкие места и назад не оглядывалась.

Покричать через заборчик было некому: у новых соседей ставни закрыты до обеда, старики на пенсии, им спешить некуда, а сын их Марка, позавчера по пьянке гонявшийся с веником за женой, домой ночевать, по ее наблюдениям, не явился. У нее был меткий глаз, и она про всех знала секретное, ей везло, где она — там обязательно откровенность. А это помогало ей, когда надо было кого-нибудь положить на лопатки. Она знала, что приехал Женя, пусть рассерчавшая Физа Антоновна таила от нее, но она слышала через окно, что Женя прибыл насовсем и без молодой — молодая на море, подозрительно, конечно, что он еще не показал ее матери; однако бабы — дуры, и только Демьяновна в курсе, что они живут хорошо. Парень серьезный, не из тех, кто лазает к ее квартиранткам в окно. Она сама рассказывала бабам, как опозорила молодого кобеля, прыгавшего от ее милиционского свистка в окно, да еще и прибавила, что прыгал-то он без штанов, потом она их отнесла в комиссионный.

Нюхая табачок, Демьяновна обошла заросшие грядки, нащупала под вялыми листочками огурец и подумала, что неплохо бы к нему на похмелье стаканчик. А где его взять? Когда бросали Демьяновну все, она сохраняла надежду на Физу. Начинала она с жалоб на долю или спрашивала про Женю, неожиданно припоминала, во что он одевался, как провожали его и как они шутили с ним за столом при ребятах.

«Почему бы всегда ей не быть такой,— жалела ее Физа Антоновна.— И ей и людям приятно».

— Пора уже нам жить как-то...— говорила Физа Антоновна,— подружней. Уже дети какие, а мы все бузастимся, грязь собираем.

— А я всегда была за это. Вот приедет Женя, и ты, Физа, посмотришь, как я его встречу. Как сына. Увидишь — ему дороже Демьяновны никого нет. Даром что он тебя любит, что Никиту Ивановича не забыл, а ты забыла, меня он тоже уважает. Дай ему бог счастья и здоровья, у него сердца на всех хватит. Я баба не промах, я его как увидела маленького: «Ну, этот зря не обидит, у него на лбу написано». А вы говорите: «Баба Демьяновна языком треплет!» Баба Демьяновна, говорила Шама, все видит, бешова. Вот помру,— плакала она,— ведь все равно плакать да жалеть будете, другие похихикают, а ты, Физа, и сын твой все равно заплачете.

— Да я уже плачу.

— То-то я брешу, брешу, а потом опять к вам. Опять к вам. И так всегда будет: что ни случалось, а прибегу к вам.

А Женя и не прибежал. И впервые ей стыдно было пойти и навязаться самой. Впервые, может, она ловким умом своим заметила, что люди за эти годы куда-то ушли, переменились в страдании и хлопотах, а она осталась в своей канители, в пустом доме, среди нестираных постелей и неполотого огорода.

Сегодня бы Демьянович уходил на пенсию, и она вдруг обрадовалась: значит, был предлог помириться.

«Петров день к тому же, куплю поллитровочку, позову их, они в долгу не останутся».

Она плакала у могилы Демьяновича:

— Все друзья-товарищи, Демьянович, в сваты лезут, а зачем мне? Не было, Демьянович, хомута на шее и не повешу. За таким мужиком жила, а теперчи за Кузю. У него на руке кольцо, рубаха черная, а воротничок белый. «Будешь моих внучат нянчить?» — «А сколько их у тебя?» — «Сколько будет». — «А, ну тогда, как внуки помрут, приходи ночевать». Лежиши, Демьянович, тебе что, для тебя жизнь только начинается, золотое царство видишь.

И как быстро повалило его, кто бы подумал. Вспомнилось теперь все хорошее с ним и хотелось вернуть здоровье назад, чтобы жить повнимательней. Каялась, нет ли Демьяновна до конца — об этом ей лучше знать. Но в тот день, когда скрутило его на тарном заводе, жена крестила двойняшек в чужой семье.

Умирал он в сознании, до последней судороги держался за краешек платья жены и мычал, наверно, просил жену не печалиться.

— Демьянович,— говорила ему Физа Антоновна,— потерпи немножко, оно пройдет...

Обмануть его уже было нельзя, он и умер на заходе солнца, и как ни принято сочувствовать вдовам, жалели прежде всего его.

— Почки отбиты,— заключили врачи,— наверное, падал когда-то...

С этих пор Демьяновна то и дело провожала покойников.

— Они без меня туда дороги не знают!

Не дрогнув, она искала несчастных в мертвецкой, обмывала, одевала их, закрывала глаза и связывала на груди руки тесемкой. Она, конечно,

но, не даром работала, благодарить ее приходилось долго. Частенько оказывалось, что она уже похоронила тех, кто и не думал умирать, и некоторых она относила на кладбище по два-три раза.

— Где ты была?

— Да бухгалтера хоронила. Который раком болел, в очках. Очень плохой был. Отвезли.

— Ой! Ой, Демьяновна! Я его вчера на базаре видела. Огурцы брал.

— А сегодня отправили. Вертолетом. Подумаешь — ну, ошиблась немножко. Не сорвать — тоже неинтересно. Не все ж правду говорить, я устала от нынешней правды. Где правда была, там, знаешь, говорил Никита Иванович, что выросло? Да вы что, бабы, скисли? Ну и жизнь настала! Не жизнь, а малина. Ушла еще со вчерашнего утра из дома и сейчас только иду, знаю, что меня никто не ждет и мне бояться некого. Покойник такой был, не любил, чтоб я по гостям ходила, перед смертью стал злой. А сейчас я барыня, дождалась свободы, никого не боюсь. Дура была, три года плакала, сколько слез пролила, слепая сделалась. На могилу, дура, ходила: «Милый мой, как я соскучилась!» Все на свете забываеться, и чем скорее, тем лучше. Я теперь не плачу — если когда грустно на душе, то я пойду на базар, там есть буфет, продают на разлив вино, то я один стаканчик выпью, и на душе веселей. Что толку: по хорошим плачем, а плохие все равно дольше живут.

До полудня Женя загорал в огороде, потом рылся в сенках в старом чемодане, набитом книжками, тетрадками и письмами — своими, от бабушки, от тети Паши, Парасковьи Григоровны, дядиной жены. Какое бы письмо ни раскрывал, оно хотя бы одной строчкой, но напоминало о разлуке. Пять лет Женя провел без матери. Ложился и просыпался без нее, не видел, как пришел ее день, и лицо ее возникало перед ним реже, чем всегда. Так странно: несет тебя все дальше от матери, и ты ходишь среди посторонних людей,участвуешь в чьей-то судьбе, а та, которая не спала над тобой, будто еще двести лет просторожит родной дом и ты увидишь ее — еще не поздно. Да так ли?

«Мама, — писал ей Женя недавно, — не скучай, не печалься. Самая трудная полоса для нас скоро кончится. Вот-вот меня выучат — и начнется новое время, тогда тебе не надо будет таскаться с кастрюлями и занимать деньги и обо мне перестанешь думать с тревогой. Пожалуйста, не беспокойся, я не залезу ни в какое грязное дело, никого не обматерю напрасно, не свалюсь под забором, и никакая гадина меня не съебет. Ребята меня окружают — ты знаешь какие. А ты себя в обиду не давай, перестань, как ты говоришь, покоряться кому попало, чуть-чуть будь гордей, тебя любят, я знаю, но и пользуются твоим характером, как хотят. А я все равно вернусь».

Как сна его читала?

Вот писала тетя Паша:

«Теперь ты еще пишешь, Физа, что о себе уже не думаешь, только скучаешь за сыном. Я тебе верю, ну этой скорби нам уже не миновать. милая Физа. Я тоже осталась одна, дочка уехала на три года в Германию по работе, скоро год, много кой-чivo там себе приобрела, три ковра купила, нам бы их никогда не купить в другом случае. Годы мои подались уже старые, и не верится, что мне будет 12 июня 58 лет, скоро на седьмой десяток разменяю. Вспомни, Физа, какие мы были молодые, когда повышли замуж, не гадали о будущем, и ты вот просишь выслать молодое фото, какое — я даже не могу понять: на котором ты снята была с Иваном своим или на котором была снята со мной на крылечке, наряженная, красивая, бывало, все чего-нибудь начудишь, и не верится. А с тех пор наших мужей братиков все косточки сгнили, ну мы еще жи-

вем, да и нам пора уже собираться к ним. Всегда тебя вспоминаю только по-хорошему, роднее тебя ровно у меня никого не было, теперчи, наверно, никогда нам не увидеться с тобой, милая Физа, разбила нас судьба по разным сторонам. Сколько было горя пережито, и немножко радости между этим горем было, а теперь будто и горя нет, ну и радости большой тоже нет. Я живу хорошо, отвыкла уже жить так, как мы в Сибири жили, садили огороды, вспомни, как мы на базаре стояли-мерзли, то мне не верится, что это было, сейчас все есть, ну если смерть придет, ничем не откупишься. Теперчи, Физа, пропиши мне про всех, про всех знакомых, кто где, кто помер, там моя печальная жизнь прошла с ними, пропиши и про Демьяновну, у меня с ней никогда не было дружбы, ну интересно, что из нее получилось, была баба чудная, не могу вспомнить без смеха, наверно, и ее годы подкосили. Поздравляю тебя с великим октябрьским праздником, желаю тебе с Женей счастья и здоровья на многие лета, подними за меня рюмку, твоя сестра по мужу Параксова Григоровна».

Женя опустил лицо на ладони и оцепенело сидел перед раскрытой дверью кладовки.

«Как жить?» — думал Женя.

— Надо жить, как бежит: просторно и вольно,— сказала Демьяновна непонятно к чему.— Если двумя стаканами губы разъело, надо поллитру принести.

Она пришла сама, со слезами потянулась к Жене руками, и он обнял ее, забывая про смутное свое недовольство. Подтащив к носу застиранный фартук, Демьяновна сморкалась, терла блестевшие табачным оттенком глаза, плакала и смеялась одновременно.

— Миленький сынок,— сказала,— за то и люблю тебя, что ты всегда был смышленый насчет людей. Я специально на огород выходила, чтоб тебе покричать. А тебя, наверно, мать Физа неправильно настроила.

— Чего я настроила,— мягко ответила Физа Антоновна. Она сейчас бы помиловала любого.— Никого я не настроила. Он сам себе хозяин. Разберется без нас. Тебя б вообще-то стоило ругать.

— Лежачего не бьют. Пойдемте ко мне. Вы не ко мне придете, вы придетете туда, где мой Демьянович жил. Я к тебе как домой, ты ко мне как домой, хочется ведь по-хорошему, правда? Не пойду ж я Утильщика звать, сопли в тарелку распустит,— изобразила она,— а Демьянович всегда рад был вам, а я по мужу рада. Давайте не обижайте меня, а то ты, Физа, такая стала...

Женя пошел первый, мать задержалась, прибиравая комнату. Дом Демьяновны строился по-старинному, с высоким крыльцом, и внутри было просторно, широко, густо крашено и свободно от мебели. Четыре года назад, еще при хозяине, шумно и щедро обмывали на огороде окончание строительства. По-старинному и входили в него, соблюли дедовские церемонии, благо что Демьяновна отличалась редкой памятью на древние обычан, как и на песни.

Весело было. Она ведь артистка! Талантливая, умная, хитрая, на пару с Никитой Ивановичем и вовсе неистощимая. Вот еще чем восхищали они Женю оба в старое время. И как умеют люди, однако, разбазаривать свой талант, пускать его по ветру.

— Ты книжки читаешь,— говорила она Жене,— а я и так все знаю. Вон у нас один лекции в саду читает, мелет абы что и все про одно... И мелет и мелет с бумажки цифрами. Хэ! Меня б пустили, все б слова в рот попали.

Сейчас Демьяновна босиком ходила из кухни в горницу, подносила к столу свеженько, сопровождала все словом, шуткой.

— Так и живем, милый сынок, бутылки сдадим, маргарину купим — и довольны.

— Да куда вы наставляете столько? Не поедим.

— Ночь еще знаешь когда будет. До ночи съедим. Тебя ждала, — подчеркнула она, — для тебя, милый, и огурца не жалко. Физа Антоновна, занимай место возле сына. Взял бы да жену свою привез, мы бы поглядели, как она тебя любит.

— Она у него переработала нынче, пусть отдохнет, к нам ехать-то не дай бог: туда-обратно, и отпуск кончится. Приедет.

Физа Антоновна точно оправдывалась и себя, казалось, уверяла, что с сыном не должно случиться плохое в семье. К тому же нельзя было смолчать, Демьяновна сказала с намеком.

— Тоже переработал, строился, строился, Женя, сам лежит, а я с квартирантами живу. Как ночь — к ним в окошко парни лезут. По койкам разлягутся и... стыдно говорить при Жене, я бы выразилась. Каждый день плачу. Сегодня бы ему на пенсию идти.

— Что ты плачешь, — сказала Физа Антоновна, — ты хоть пожила, а мы и не жили. Детей родили, а мужей не видели.

— Как услышу, где похоронная музыка, бегу бегом, провожаю, на могилу упаду, слезами оболью.

Демьяновна медленно скребла вилкой клеенку и смотрела в одну точку понурившись.

— Я его никогда не забуду, — сказала она спокойно и взвешенно, — но отвыкать отвыкаю. — А потом добавила: — Помру — чтобы похоронили, как положено. Рядом с ним положили.

— Места нет, — сказала Физа Антоновна. — Впритирочку к твоему Демьяновичу лежат.

— В одну могилу опустите.

— А это если райисполком разрешит.

— А вы Демьяновича откопайте, сторожу пятерку в зубы, притопчите Демьяновича и меня на него положьте. Обниму я его ручками. «Милой мой Демьянушка, сколько я тебе новостей принесла: дед Гришка помер, Домовой помер, Никита Иванович замерз. Дом наш пустой стоит». Помнишь, Женя, как ты придешь, он меня за руку: «Ну, Женя приехал, пойдем-сходим». Как красиво было. Красиво, дружно жили, или мне кажется? Давайте по первой. — Она подняла рюмочку с водкой. — Всяко бывает: грабли и то стреляют, — продолжала Демьяновна. — Вот Никита Иванович, отец твой, кто мог подумать, что так его бог приберет.

Физе Антоновне не хотелось слушать об этом, однако она перетерпела.

— Что мы делали, Физа, в воскресенье, я забыла. Не то у меня сидели, — ссврала она, — не то я белила у тебя. Или нет: мы ж капусту возили на базар! На тележке моей. Я пристроилась к знакомой торговать пивом, себе баллончик нацедила, Никите поднесла, он еще капустой закусывал. И чо-то быстро мы, Физа, расторговались, однако и часу не стояли, народу перло больше, чем всегда, а ну выходной день, жрать надо, с магазина не больно напасешься. А мы еще потому быстро продали, что я с шуткой-смехом грозила, что, если братя не будете, мол, мы капусту в Африку отправим другим народам задаром, скоро без капусты останемся, прости господи, все свои, не выдадут, а милиционер услышит — я ему поднесу, он тоже выпить хочет. Домового теперь не страшно, он под каменным крестом лежит, в раю тротуары чистит. Может, не так что сказала? «Если бы не мой бы Алексей, Кипина Дунька б замуж не вышла», — говорил Никита Иванович покойник, вот его рюмка полная стоит, как бы он выпил ее нонче... И он, Женя, после базара на следую-

ший-то день на работу пошел, получка обещалась. Он к вечеру подцепил с дружками, ночь-п полночь — его нету. Мать твоя ко мне, я к ней: «Пришел?» Уж и коров позакрывали, на ночь потянуло холдком, ветер. Полегли, ты, кажется, говорила, Физа, якобы не спала. И тут ровно постучали! Громко, несколько раз! Толик дома был? Ну да, был, это он после смерти, когда мать его заболела, поехал и в армию попал, был, был, я еще ставки закрывала, он с ведрами к колонке бежал... В другой раз постучали. Опять, да громко-громко. Она, мать-то твоя, Женя,— и тут Демьяновна заплакала, и не было никакого сомнения, что переживала она сейчас за Физу,— выходит этак, распахнула дверь, уже собиралась отчитывать: «Где бродишь? На ночь не оставили?» — и глядит: никого! Да неужели ошиблась? Ведь слышала, как стучали. Ну и легла опять, какой уж сон. А Никита Иванович к тому времени уже мертвый лежал. Это он и стучал. Ровно с того света, где Демьянович мой.

«Нелепая смерть, а подумать хорошенько, так этим и должно было кончиться рано или поздно. Всей жизнью к этому шел», — подумал Женя.

— Возле сапожной будки нашли... Какой леший его туда занес — неизвестно. А деньги — десятку-то он пропил — остальные тесемочкой обмотал и в карманчик в брюки засунул, ровно чувствовал, сроду не прятал, и милиция брюки передала Физе, она стала потом стирать — 85 рублей-то тесемочкой перевязаны. Нет Никиты Ивановича, такая ему смерть пришла, от судороги. Товарищи выпили за его денежки, а он же знаешь какой — нате, берите, я богаче всех! — они выпили и бросили, нет бы довести, видно же, человек плохой. Вот тебе и так, и сяк, и жизни сок. Все нас дурят, Женя, а мы с мамой твоей всякого принимаем.

— Как жил, так и помер, — без чувства сказала Физа Антоновна. Она была недовольна Демьяновной.

Проводила Физа Антоновна Никиту Ивановича хорошо, отметила, как полагается, и девять, и сорок дней, и полгода, и год, и, может, некоторые и не помянули принародно так заботливо своих самых близких людей, не помянула так и Демьяновна своего мужа ни разу. Жалко всякой смерти, и она никогда не желала ему несчастья и горько и громко плакала над его гробом — и по нем и по себе, — пускай бы жил. Но раз уж случилось, раз уж не воротишь, то не грех и признаться, что хорошего она за ним мало видела. А Женя, наоборот, очень долго его вспоминал, чего-то не хватало ему без Никиты Ивановича, как-то неуверенной чувствовал он себя в неудаче и не заводился уже без него в компании.

Так оно и было в чем-то. Женя не отпирался. Но он никогда не говорил об этом матери, не возражал на ее слова: «А что хорошего мы с ним видели?» — понимая, что его детскому чувству тогда было достаточно слов, которые материну судьбу никак не спасали. И Демьяновна не заметила теперь спокойного внимания, с каким Женя слушал ее. Наверное, юное желание любить всех безраздельно прошло.

— Надо жить, как бежит, — сказала Демьяновна и запела «Ох мороз, мороз...».

Никто ее не поддержал.

Так тихо еще никогда не было за столом. Постарели женщины. А Женя слушал, думал и молчал. Мать была довольна, что он теперь рядом. Чего ей еще? Жизнь, считай, прошла, плакать бесполезно.

Они вышли на улицу.

«А мать моя все-таки несчастнее других, — почему-то подумал Женя. — А уж как она была ласкова, как добра, смиренна... Наверно, когда бросали в нее пылающую головешку, она кричала: «Руки, руки береги!» Да не наверно, а точно... Вот был Толик, звал мамкой, а после смерти Никиты Ивановича и писем не пишет. При встрече, может, и заплачет, и

подарок сунет, а вот не пишет, своя мамка плохая, бросала — мучила, а простились... Какое детство прожили, а не переписываемся».

— Ну, ты ей хоть кол на голове теши,— сказала мать о Демьяновне,— а она свое.

— Ма-ам! Да только ли Демьяновна. Дурили тебе голову и будут дурить. Рассердилась да забыла. «Да я чо, я ничо» — оправдываешься перед всеми. Тебе ли оправдываться? Перед тобой должны оправдываться.

— А чо ж ты хочешь, мать одна, что ли, будет жить? Так, сынок, тоже нельзя.

— Зачем одна? От себя, конечно, не уйдешь. Но люди знают: а, с Физой Антоновной можно, она простит. Я и сам в тебя... Да пора уж погордей быть.

— Ты и правда, сынок, раньше не такой был. Я мать, я приглядываюсь к тебе, хоть ты и взрослый. Ты, сынок, не иди за теми, кто на язычок острый. Чего вам соваться не в свое дело? А то как бы вместо того, чтобы выслушивать твои наставления, я тебя в оборот не взяла. Тебя выучили, вот и старайся. Отец на фронт уходил, просил, чтоб не баловала, а без меня ты там не спортился ли?

— Ну, чего я, мам, испортился. Я не особый. Тоже смотрю вокруг и думаю, как нам лучше жить. Лучше и лучше надо.

«Кого прощать, кого любить...— думал Женя перед сном в кладовке.— И как все-таки жить... Это сейчас самое главное».

Никита Иванович, Никита Иванович... Годы украсили его, но хотелось вспомнить его таким, каким он был. По крайней мере в последний раз, на проводах в институт. Он чувствовал, наверное, свою вину перед детьми и в темный и теплый вечер, вытащив стол и табуретки под окно, долго рассказывал о своем детстве, о войне, а потом наставлял Женю на дорогу.

— Вот учись,— говорил он.— Между товарищами будь самый хороший. Вот с меня пример бери, я без грамоты, а меня любят товарищи. Правду отстаивай. Как я. Смеешься, а ты знаешь, как отец на собраниях выступает? Пыль столбом! Президиум не успевает воду из графинчиков наливать. Во. А кто я? Простой мужик, выпить люблю.

— Папк,— сказал Толик,— хватит, смотри, комар в бражку сел.

— И думает выпить! Не-ет, не получится. Женя, давай по маленькой, тебе уже можно.

Они чокнулись и поцловались.

— Какие мы никакие,— сказал Никита Иванович у поезда,— а ты не забывай нас, не бросай.

— Да нет... не забуду...— пообещал тогда Женя сквозь слезы.

Июнь 196 ... г.

Дорогая Парасковья Григоровна, сообщаю тебе, что Женя мой отучился и приехал домой насовсем. Жена его тоже вот-вот приедет, позовем мы бабушку нашу, она еще жива, еще сама корову доит, теперь бы жить да радоваться, сердце мое успокоилось, но здоровье уж не то... Сейчас вечер. Женя ушел к друзьям, а я тебе хочу послать длинное письмо, пропишу тебе, милая моя Паша, про всех родных и знакомых — кто жив, кто помер, как чо, почему...

Новосибирск — Краснодар.
1967—1968 гг.

